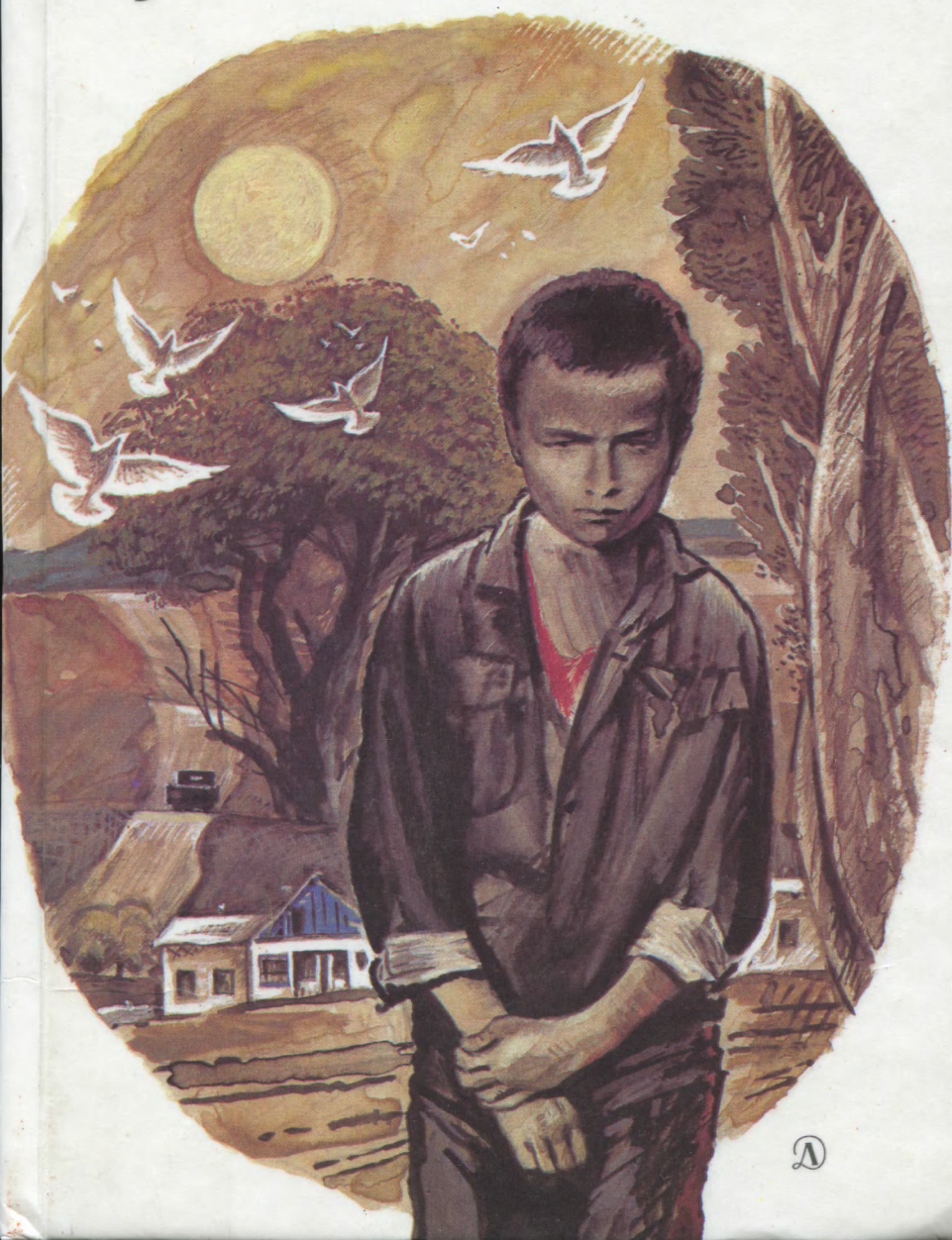
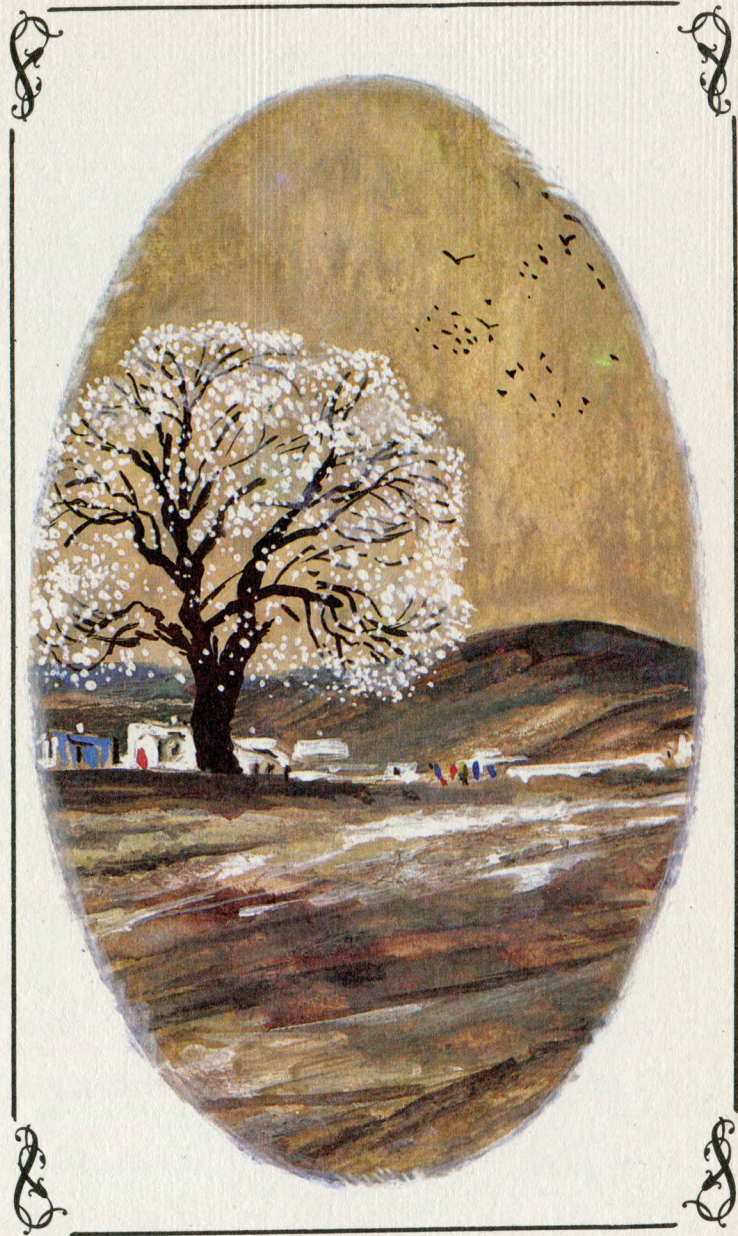
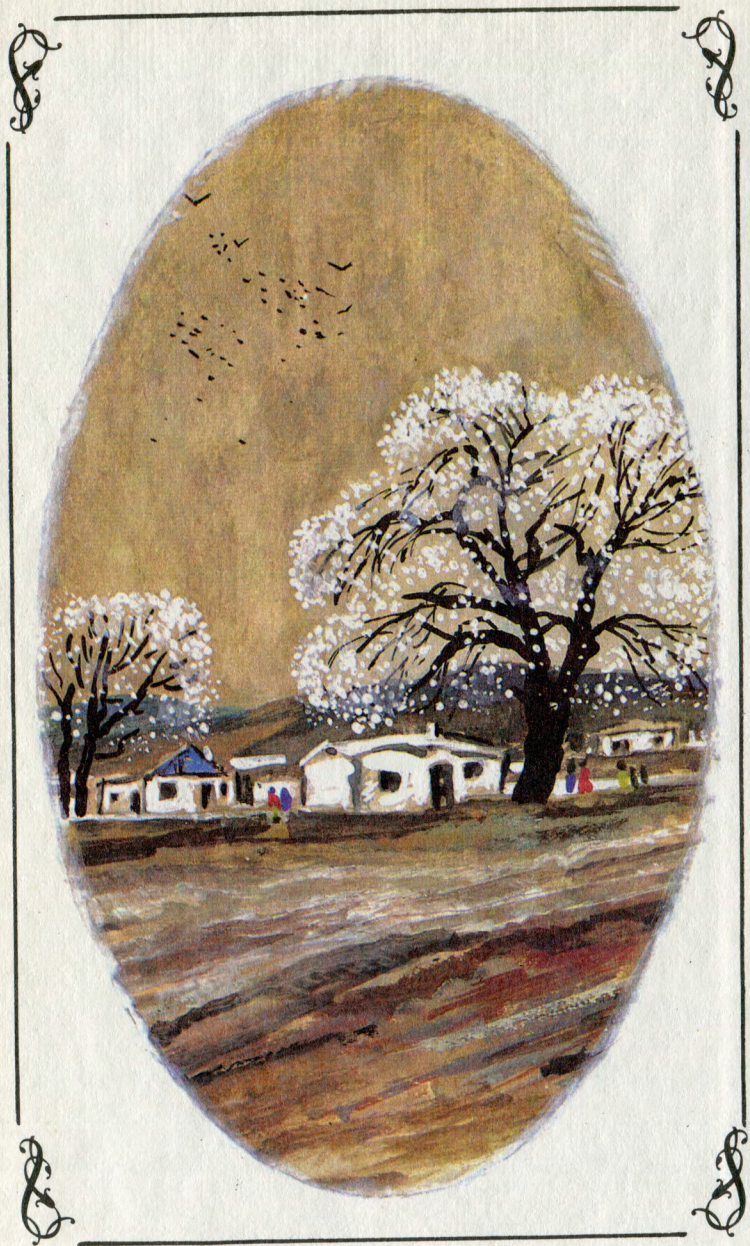


ЭРВИН УМЕРОВ

# Майна Выхойты









ЭРВИН УМЕРОВ

# Майна Высоты

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ



Перевод с крымско-татарского

Москва  
«Детская литература»  
1988

*Рисунки С. Соколова*

*С крымско-татарского перевел автор*

**Умеров Э. О.**

**У52** Тайна высоты: Повесть и рассказы/Пер. с крым.-татар.; Предисл. П. Ульяшова; Рис. С. Соколова.— М.: Дет. лит., 1988.— 192 с.: ил.

ISBN 5—08—001283—8

Адресованная подросткам книга современного писателя рисует достоверную картину жизни их сверстников 50—60-х гг. Автор точен в своих наблюдениях. Воссоздавая картины жизни кишлака, семьи, отношения людей тех лет, он показывает, как растет и формируется характер человека. Уходя во взрослую жизнь, молодой человек должен нести память о доме — золотом пороге, — здесь начало его судьбы.

У 4803560201—237 428—88  
M101 (03) -88

**ББК 84Тат7**

ISBN 5—08—001283—8

© Состав. Рассказы «Ненастье», «Конец «Грозной карты»  
Предисловие. Иллюстрации.  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1988



## ЧТОБ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ ЦЕПОЧКА

Есть такая поговорка: каков характер, таковы и поступки. С другой стороны, по поступкам определяют характер человека. Но характер должен сложиться, устояться. Складывается же он в детстве.

Есть в книге, которая сейчас перед вами, дорогие читатели, совсем небольшой рассказ «Тайна высоты». Его маленький герой решил достать с высоченного дерева спелых абрикосов. Но, как то часто бывает, на большой высоте испугался, не зная, что делать дальше: лезть вверх или спускаться, пока не поздно, вниз? Спасает малыша отец. Однако он не торопится снимать сына с дерева, а дельными советами помогает преодолеть страх и спуститься на землю самому. Позднее мать выговаривает отцу, чтобы он запретил сыну подходить к деревьям, но отец, сам смертельно переволнованный за сына, пока тот перебирался с ветки на ветку, спокойно отвечает: «Такое не запретишь, мать. Да теперь и сам будет умнее. А ползет — не так будет бояться. Не растеряется. Ведь он уже познал тайну высоты...»

Герои рассказов и повести Эрвина Умерова не раз будут преодолевать себя и познавать много разных тайн, не только высоты, но и человеческой доброты, сочувствия, помощи, храбрости, как, впрочем, и трусости, и подлости. Такова ведь жизнь — она неоднозначна в своих проявлениях. Но чаще всего они все-таки будут сталкиваться с добрыми человеческими деяниями, и это положительно отзовется на становлении их характеров, на их поступках.

Прочтите рассказ «Чужие заботы», и вы увидите, как настойчиво сельский механик Мемёт учит ребят обращению с техникой, как тактично предостерегает он их от дурных, опрометчивых поступков. В свою очередь и дети, памятуя добро, стараются отблагодарить своих родителей, наставников, уберечь их от излишних волнений. Герой рассказа «Ложь», отправившись один за дровами, едва не становится жертвой голодных шакалов, но, счастливо добравшись домой, он решает не рассказывать о случившемся матери: у нее и без того хватает тревог и забот — стоит ли еще волновать ее своими страхами? А юная актриса, которой когда-то солдат-инвалид, друг ее погибшего отца, помог закончить школу, поступить в театральный институт, теперь перед своей премьерой пишет ему благодарственное письмо со словами: «...не беспокойтесь, я сыграю свою роль как полагается. Потому что ее мы будем играть вдвоем — вы и я. А вместе с вами я разве провалюсь?»

Постигая законы человеческого общежития, юные герои повести «Золотой порог» Иса́ и Селямёт Таймазовы незаметно для себя выстраивают целую философию взаимозависимости всех человеческих — добрых и злых — поступков: «Кто взрастил эту пшеницу — мы не знаем... Мы ее помелем, потом испечем лепешки, которые съедят люди, что придут к нам на хаша́р... Посмотрите, какая цепочка получается... Я думаю теперь: могут ли наши вот сегодняшние хлопоты, наши дела тоже как-то отразиться, к примеру, на тех же людях, которые где-то вдали от нас растили этот хлеб?

— Не знаю, — ответил я, подумав. — Прямо, конечно, вряд ли. Но наши дела всегда касаются тех, кто вокруг нас. А те, кто вокруг нас, воздействуют, в свою очередь, на других, и так, волна за волной, как от камня, брошенного в воду, бегут круги, — пойдут наши поступки по жизни. Пока к нам самим же не вернутся. Мне кажется, никакой поступок человека — плохой или хороший — не проходит бесследно».

Ребята, конечно, рассуждают правильно. Но оказывается, философствовать о добре легче, чем его творить. И потому, когда Иса отступает от им же самим открытого закона, расплата следует незамедлительно...

Звенья цепочки, которую открыли ребята, могут быть как нагляд-



но-очевидными, так и незримыми. Когда у семьи погибшего фронтовика Таймазова воры украли лес, приготовленный для строительства дома, соответствующее звено в общей цепи сразу не образовалось. Но тем не менее на помощь Таймазовым пришли все жители их махалли (улицы, квартала). И поступок этот старый и мудрый Аман-бобо объяснил так: «Ты слышал когда-нибудь такое слово — «хашар»?.. Какой бы национальности ни были, люди должны помогать друг другу. Потому мы и решили, что дувал ваш построит махалля».

«Хашар» на русский язык можно перевести как «помощь», когда соседи, жители одной улицы, села, всем миром помогают кому-либо построить дом, убрать урожай и т. п. Этот обычай существует у многих народов, только название у него разное. Потому в хашаре, как о том пишет начинающий журналист Энвер Таймазов, участвуют «представители восьми национальностей, как-то: узбеки, русские, украинец, казах, таджик, киргиз, кореец и еврей». И это еще один урок — советского интернационализма, — который получают герои повести.

Время, о котором рассказывает в своих произведениях Эрвин Умеров, — тревожное и суровое: годы войны, когда оставшиеся в тылу женщины и дети изо всех сил стремились помочь фронту, последовавшие затем тоже отнюдь не легкие годы восстановления разрушенных сел и городов. Сегодняшние юные читатели об этих временах знают только по рассказам старших, да еще по книгам и кинофильмам. И несмотря на то что об этом периоде написано и рассказано немало, книга Э. Умерова, я уверен, не окажется лишней: у нее свои герои, своя территория, свой опыт. А затем, каждое свидетельство очевидца тут не может быть лишним — оно еще один камень в фундамент наших знаний истории страны, еще один урок добра и справедливости. А то, что книга Э. Умерова — свидетельство очевидца рассказываемых событий, я думаю, вы легко поймете и догадаетесь сами, дочитав ее последнюю страницу. И не только потому, что чаще всего автор говорит от первого лица, выступая в роли рассказчика, хотя и это что-то значит. Просто сама интонация его рассказа настолько бесхитростна и доверительна, события, о которых он повествует, так зримы, люди, с которыми он нас знакомит, настолько реальны и жизненны, что усомниться в правдивости прочитанного никак нельзя. Более того, постепенно к нам приходит сознание, что все, о чем поведал автор, увидено и пережито им лично. И наверное, герои его, от лица которых он ведет рассказ, скорее всего, это он сам, выступающий как бы в разных ликах. Потому, и не зная биографии писателя, легко представить ее по произведениям, составляющим эту книгу: голодное детство на окраине узбекского города, куда волею драматических обстоятельств занесло его семью в годы войны,

учеба в холодных классах школы, изнурительный труд на хлопковых полях, сиротство и незаслуженные обиды, помощь добрых людей, первые шаги на поприще заводского рабочего... А затем были годы учебы в Ташкентском университете и в Литературном институте им. Горького, журналистская и редакторская работа в газете, на радио, в издательстве. Ныне Э. Умеров — автор более десяти книг, изданных на родном языке и в переводе на русский. Значителен вклад его как переводчика многих произведений узбекских писателей на русский язык.

*Павел Ульяшов*



# ЗОЛОТОЙ ПОРОГ

ПОВЕСТЬ



— Который час? — спросил я у парикмахера Абрама.

Он густо намыливал щеки клиента, не боясь залепить ему нос и глаза пеной, и громко рассказывал чистильщику сапог, сидевшему перед своей будкой на противоположной стороне улицы:

— Так, значит, Назим огрел его кием по горбу и спрашивает: «Еще добавить?» — Отвернул рукав халата, глянул на часы и сообщил мне: — Четверть третьего.

Вся школа бежит к Абраму узнать время. Все новости райцентра тоже стекаются к нему, Абрам всегда щедро делится ими. Как вот сейчас — с чистильщиком сапог и со всеми, кто находится в радиусе слышимости его громкого голоса.

— А Сулимский что? — нетерпеливо крикнул чистильщик. Клиенты не шли, и он изнывал от скуки. К тому же, как пропустить слухи о богатыре Назиме!

— «Да не нужна мне эта дура, бери ее себе!» — орет Сулимский, а сам лезет под бильярдный стол, — доложил Абрам, потом повернулся ко мне: — Уроки кончились? Хлеба еще не привозили. — И продолжал, уже оборотясь к чистильщику: — «Это Таня-то дура?» — спрашивает Назим и снова пихает его кием. «Нет-нет, я сам дура!» — отползает подальше Сулимский. Видно, бедняга готов был не только душой назваться, но и в женское платье влезть...

Я не дослушал Абрама. И так понятно, чем все кончилось. Назим — известная личность в районе.

О чудовищной силе Назима ходят легенды. В Каттаюле ему уже не с кем сразиться: все биты, кого можно и нужно было бить. Теперь, чтобы отвести душу, он ездит в Фергану или Коканд. На трофейном мотоцикле «БМВ». Всегда в сопровождении друга, двухметрового верзилы Баттала. У того новенький «ИЖ-49». Судя по тому, что они всегда возвращаются целыми-невредимыми, затеваемые ими там побоища куда проходят вполне успешно. Лишь иногда, от случая к случаю, дают они острастку своим районным жуликам, шаталстрестам, как называли у нас в ту пору тунеядцев-бичей, и известным юбочникам вроде Сулимского, о последних похождениях которого рассказывал Абрам.



Четверть третьего. Султани́е, наверное, уже на уроке. Во вторую смену учится. Поела она что-нибудь или нет, интересно? Хлеба дома ни крошечки. Мама оставила утром, уходя на работу, кусок мяса, пять картофелин да луковицу для супа, но вряд ли эта растрепá смогла сварить что-нибудь. Двенадцать лет еще, а уже у зеркала вертится! Что дальше будет, не знаю. Горе на мою голову. И ни капельки самостоятельности. Раз сорок небось подходила к казану, трогала мизинчиком мясо, залитое холодной водой, и откатывалась прочь. «А вдруг все испорчу? Вдруг пересолю?..» Вдруг-вдруг-вдруг... Вот и будет голодная до вечера. Я и сам есть хочу как волк. Околеешь, пока достанешь хлеба, придешь домой, сварь суп. И Энвер ждет, наверное, ждет не дожидется.

А сейчас надо пойти узнать, где этот оболтус Иса шляется.

Я обогнул школу, подкрался к окну класса Султание, тихонько постучал по стеклу. Через секунду на улицу выглянуло смуглое до черноты лицо. Большие черные глаза, черные прямые волосы — сорок косичек. Все черные.

— Красавица, позови сестренку.

— Сейчас, Саломáт-акá.

Отошел в сторонку, жду. Из открытого окна доносится рокочущий голос Наума Ефимовича. Математика. «Любимый» предмет Султание. Дрыхнет небось всюю. А просыпается она медленно и неохотно. Вот и жди.

Из-за угла появился Макит. Увидев меня, мощно свистнул, помахал рукой. («Айда домой, чего там торчишь?») )

Я кивнул на окно. («Не могу, дела».) Макит пожал плечами, перепрыгнул через живую изгородь на тротуар и запыхал своей дорогой. Мне бы твои заботы, дружок!

В нашем девятом Макит самый рослый. Мужичок почти. Толстый, гладенький и искушенный во всем. Вот и сейчас. Выполз из школы последним, опять ошивался, видно, возле Виктории Михайловны, учительницы немецкого языка. Говорят, она дочка генерала, а по словам Макита, умной головы, все генеральские дочери... те еще самые. И пытается это доказать — правда, пока безуспешно.

Из окна вылетел сложенный листок бумаги.

— Таймазова, ты сюда учиться ходишь или бумажками швыряться?

Это голос Наума Ефимовича. Лучше поскорее убраться отсюда подальше. Увидит меня — Султанье плешь проест. «Хорош у тебя братец, хорош. Сам на тройках ездит и тебя хочет повезти». Я развернул записку. Ну и почерк у сестрицы, обалдеешь! Как у профессора какого. Или будто писала на мчащейся по проселочной дороге арбе.

«Селямет-ага<sup>1</sup>. Суп готов. Но ты обязательно прокипяти его. А то я воды доливала. И картошка сыровата. Я поела немного, покрошив в бульон четверть лепешки. Лепешку заняла у соседки Зарифы-апа. Как купишь хлеб, верни долг. Энвер не ел, спал, когда я уходила, жалко было будить. Исы с утра не было дома. Не знаю, куда подевался. В школе его тоже нет. Придет мама, будет беспокоиться. Последний урок физкультура, постараюсь сбежать.

Султанье».

Я пошел прочь. Вот такие дела. Никакого покоя с этими детьми. Одну пацаны поколотили, другой двойку схватил или вовсе не явился в школу, — ходи выясняй, как, почему, зачем. Что бы ни случилось — ты в ответе, отчет требуют с тебя. И некуда деться от ответственности. Теперь выясняй, где болтается этот бездельник.

Найдя нужное окно, я кинул в класс камушек. На подоконник лег животом Коля Планер, прозванный так из-за своих большущих плоских ушей. Увидев меня, он зареготал, обнажив гнилые, редкие, желтые зубы. Я проворно схватил его за ухо, потянул к себе. Коля легко спланировал на улицу. (Дисциплинка у них еще та. Уходят из класса, приходят когда хотят. Особой беды не будет, если Планер поотсутствует секундочек триста.) Не давая гнилозубику опомниться, я отвел его за мелкие деревца тута:

— Говори, где Иса?

— Клянусь, не знаю.

— Слушай, от меня не отвертись. Со мной не пройдут эти ваши детдомовские штучки. Говори, где он ошивается?

— Ослепнуть мне, если знаю!

---

<sup>1</sup> А г а — брат, то же, что узбекское «ака».

— Ох, не заливай, Коля! Лучше скажи, где он. А то ведь будет плохо.

— Убей меня бог, не знаю. Я его уже сто лет не видел.

— Бог тебя не убьет. Я бы сам тебя... да себя жалко. Вставай, проваливай отсюда. Ты думаешь, добро делаешь другу? Прикинь умишком-то. А вдруг с ним беда стряслась, а я тут чикаюсь с тобой, вместо того чтобы бежать его выручать. Понял, солдатик? А теперь сгинь с моих глаз.

— Иса на станцию поехал. Просил никому не говорить.

— Что он там потерял, на станции?

— Вагоны будет разгружать. За день, говорит, тридцать<sup>1</sup> рублей платят.

— Понятно. Можешь идти, Николай Планерыч. Но запомни: если Иса будет чудить и с ним что-нибудь случится, виноват будешь ты. За то, что покрывал. Понимаешь? Тогда я вырву вот эти твои украшения с корнем. И вручу их тебе, как букет цветов.—Я хлопнул его по уху.— Понял? Ты ведь не хочешь другу зла, верно?

Коля ослабился. Верно-то, мол, верно, но на меня не больно надейся.

Иса... Этот парень уже доставил мне хлопот, да.

Раз поснимал колпачки от камер велосипедов, оставленных у сельсовета. Зачем они ему понадобились, аллах знает, велосипеда у нас нет и вряд ли когда-нибудь будет, да и роли в движении велосипеда эти колпачки никакой не играют, но Исе они чуть жизни не стоили. Два разгневанных молодца били его насосами, когда я прибежал. Я, конечно, влез под эти удары, прикрывая брата. Когда он рванул прочь, уйти от преследователей мне не составило труда — у меня хорошие отметки по бегу.

В другой раз он настоящую диверсию совершил. Тогда его вызволила мама. Пришлось-таки ей поунижаться, да и ущерб Хамидову возместить. А дело было так.

Хамидов этот, колхозный бригадир, застукал как-то корову Турсуна, друга Исы, на клеверном поле, не долго думая выхватил нож и отсек ей хвост у самого основания. Уж такой он был человек, Хамидов. Матюкался безбожно,

---

<sup>1</sup> Здесь и далее деньги в исчислении до реформы 1961 года.



пьянствовал, избивал подчиненных, пока не загремел за какие-то темные делишки под суд.

Иса видел корову, истекавшую кровью, и не стал дожидаться, когда... когда-а еще последует справедливое возмездие. Сам решил покарать негодяя. Натянул с другом Турсуном проволоку на дороге, по которой Хамидов обычно возвращался ночью домой. Тот и врезался в нее на полном ходу. Мотоцикл — вдребезги, а сам Хамидов был спеленут бинтами в больнице, как мертвяк саваном. Зло наказано, но расплачиваться пришлось маме. Лет десять жизни потеряла на этой диверсии Исы.

Еще много чего вытворял Иса, всего я сейчас и не упомяну. Потому мама и твердит всегда, чтобы я был начеку, присматривал за притким братцем. Я и стараюсь, но разве за таким уследишь!

Хлебный ларек был открыт. Но хлеба еще не подвезли. Очередь, закрученная в тесном зале, обвивала снаружи еще две стены ларька. Истомленные люди поминутно оглядывались на равнодушно-пустынную дорогу.

— Давно стоите? — поинтересовался я у старухи, замыкавшей очередь.

Бабушка протяжно вздохнула, кивнула маленькой ссохшейся головкой. Понятно. Если прождешь машину час-другой, то еще часа два прстоишь, пока дойдет очередь. Домой придешь в пять или в шесть. Все это ничего, да как бы Энвер не протянул ножки. Хорошо, если Султанье догадалась оставить рядом с ним чашку бульона, а если не догадалась?

Я посмотрел на дорогу. Хоть бы какой знакомый подвернулся с велосипедом, подвез до дома. Покормил бы брата. Но разве находишь, когда ищешь?

Из-за деревьев выплыл зеленый фургон и, нещадно тревожа залежавшуюся пыль дороги, направился к магазину. Очередь нервно зашевелилась, загомонила.

Я снял с плеча сумку, положил на землю у стены. Тихонько тронул старушку за локоть:

— Бабушка, кто подойдет — скажите, что я за вами стою.

Старуха ответила протяжным вздохом. Между тем фургон развернулся и, покачиваясь на ухабах, подъехал задом к двери ларька. Сейчас главное — везение, а чтоб повезло, надо действовать, не сидеть сложа руки.

Заглушив мотор, шофер вылез из кабины.

— Дядя, помочь разгрузить?

Шофер посмотрел сквозь меня и проследовал в магазин, разрезая толпу отчужденным взглядом усталого кормильца. Я остался стоять у машины.

Минут через пять в дверях показался шофер. За ним семенила полногрудая, низенькая продавщица Дуся в белом халате. Она перебирала в руках накладные.

Шофер открыл дверцу фургона, достал две буханки хлеба:

— Держи, чего смотришь?

Я не стал, конечно, дожидаться, когда этот вопрос приказ повторят еще раз. Схватил буханки и ринулся в чрево ларька. За мной засеменил старичок кореец, бережно прижимая к узкой цыплячьей груди румяные ржаные буханки. «Хорошо,— мелькнуло у меня в голове.— Быстрее управимся».

Через минуту я выбежал из магазина. Шофер стоял в кузове. Дуся оформляла накладные, положив бумаги на гладкий капот машины.

— Давай побольше,— сказал старик кореец, протягивая из-за моей спины тонкие, пергаментные руки.

— И то дело,— согласился шофер.

Теперь мы понесли по четыре буханки. Дело пошло споро.

...Фургон уехал. Дуся заняла свое место за стойкой. Мы со стариком корейцем с полным правом продрались к ней. Очередь глядела на нас без осуждения, но и радоваться за нас не собиралась.

Я достал из потайного кармана брюк — пистончика — тщательно сложенную, завернутую в белую бумагу сто-рублевку, развернул и протянул Дусе. Она кинула деньги в картонный ящик из-под мыла, придвинула мне две буханки. Я взял одну, несмело поглядел на продавщицу. («Я могу и подождать, конечно, но, поскольку дал сто рублей, хотел бы получить сдачу...»)

— Дали тебе, бери, чего смотришь?! — крикнула Дуся, с силой придвигая ко мне вторую буханку и тут же одергивая заволновавшуюся было очередь: — Вы же видели, как он бегал с буханками. Весь вон взмыленный...

Впрочем, пока я работал, ни в каком мыле не был. Вспотел я, когда увидел, что мне отпускают целых две

буханки хлеба. Это же надо, такая удача! Две буханки! На два дня, а то и на три хватит. Завтра можно будет прямо из школы домой, а то и в волейбол поиграть часок...

Сумки моей у стены, где я ее оставил, не было. Вот незадача! Кому, интересно, понадобилась моя шитая из драп-дерюги сумка, мочаловидные учебники, пластмассовая чернильница, называемая непроливайкой, но из которой вечно так и сочатся чернила, и ручка-самописка — перо № 86, насаженное на деревяшку?..

— Мальчик, ты сумку ищешь? Здесь она вот, — помахала мне притиснутая очередью к стене старушка, та самая, за которой я занимал. У ее ног лежала моя родная дерюжная.

— Ты ушел, и нет тебя, нет. Мало ли что, думаю... А тут мы продвинулись малость, ну я и... — Старушка вдруг осеклась. Она увидела мои буханки. И тотчас между нами пролегла незримая пропасть. На этой стороне человек, доставший хлеб, на той — человек, которому достанется ли...

— Помогал таскать, без очереди дали...

— Много привезли? Нам хватит?

Точная информация (если она неутешительна) обычно убивает надежду. Привезли двести буханок, а осталось уже сто девяносто шесть. Их, наверное, едва-едва хватит гражданам, набившимся в ларек. А там, как водится, кое-кто влывет через черный ход, сама Дуся тоже ведь хлеб ест, так что...

— Много, хватит, — попытался улыбнуться я беспечно, как человек, который одолел трудный переход через перевал и теперь перед ним ровная и гладкая равнина, топай себе и топай. Но тут не знаю, как получилось: я неожиданно для самого себя протянул старухе одну из буханок: — Возьмите, бабуля, это вам.

— Да ты что, сынок, я... ты ведь... — засуетилась, засмушалась она, пряча руки за спину. Но через мгновение освоилась с новой мыслью — вот она, буханка, почти в руках! — сунула мне раскаленные в сухом кулачке деньги.

Я поспешно выхватил их и, на ходу засовывая в заветный карманчик, пошел прочь. Надо спешить домой, да и слушать старухины потоки благодарности почему-то неловко...



Живем мы на улице Селькельды, в глинобитной покосившейся мазанке с плоской крышей. Спиной она стоит к мечети, которая давно перестала быть мечетью: осенью в ней сушат хлопок, хранят курак<sup>1</sup>. Его обычно разбирают жители махалли<sup>2</sup> и, сидя вечерами при свете керосиновых ламп, вылуцивают из него хлопок. За килограмм такого хлопка колхоз платит сорок копеек.

Участок наш был бесхозным. Некогда некий бай завещал его мечети (почему и называется он вакүфным), чтобы муллы могли пользоваться доходом, но доходов двор, по моему разумению, особых не приносил. Земля находится высоко над арыком, вода, которая течет по нему, по существу, бесполезна для участка. Разве что будешь носить ведрами. А ведрами, известно, землю в Средней Азии не напоишь. Потому и сели — камне-грязевые потоки, которые частенько затопляют нашу махаллю (откуда и название «Селькельды» — «Сель пришел»), — не грозят ни нашему дому, ни участку.

Росло здесь некогда с десяток миндальных деревьев, но часть повисхла, остальные срубили соседи. Сейчас — ни одного деревца. Даже пни выкорчеваны. На дрова.

Со стороны улицы двор мы огородили снопами кукурузных стеблей. Даже калитку навесили, связанную из жердей. А сразу за оградой вскопали землю, три на три метра. Это огород, который мы поливаем из ведер. Здесь растут лук, петрушка, укроп, редис, морковь. Немалое подспорье в хозяйстве.

Вот и сейчас. Я нарвал зеленого лука (редиска давно уже сошла), отрезал себе и Энверу по ломтю хлеба. Во дворе над очагом вовсю кипит казан. Бульон жидковатый, но зато я не пожалел зелени, луку. И репку покрошил — такой дух исходит, что голова кружится. Узбеки такой суп называют «пиявóй», что значит «пустой».

Хлеб мягкий, соль крупная и белая, луковые перья сочные, мясистые, сидим хрустим. Энвер задумчиво поглядывает на меня. Чувствую, что-то хочет спросить, я даже знаю, что именно, и поэтому молчу, не спешу начинать разговор.

---

<sup>1</sup> Курак — нераскрывшаяся коробочка хлопка.

<sup>2</sup> Махалля — квартал.

— Ису не видел? — решается брат наконец. — Не ска-  
зал, когда вернется?

Не отвечая Энверу, я набиваю рот хлебом, киваю на  
ноги брата, беспомощно вытянутые на циновке (мы сидим  
на полу), и мычу:

— Не болят?

— Не болят, ты же знаешь, — отвечает брат обиженно.  
Не любит он играть в кошки-мышки. — Я их вообще не  
чувствую. Ноги или деревянные лежат — одно и то же.

— Уроки приготовил? — Мне очень не хочется гово-  
рить об Исе.

— Приготовил. Половину. Письменные не смог. Сул-  
тание ручку и тетради оставила, а чернильницу забыла.

Энвер посмотрел на полку, на которой стоят наши  
школьные принадлежности. Она прибита довольно высо-  
ко, на уровне моих плеч, а я ростом метр шестьдесят  
восемь. Будь полка гораздо ниже, Энвер все равно не  
дотянулся бы — ноги у него не действуют вовсе. С малых  
лет.

— Ладно. Я подам сейчас тебе чернильницу. Поза-  
нимайся пока. А я пойду посмотрю суп — скоро голодный  
люд начнет стекаться.

— Селямет-ага... — позвал Энвер, когда я уже пере-  
шагивал через порог.

Я недовольно обернулся. Не отстанет, пока своего не  
добьется.

— Ну чего тебе?

— Знаешь, ага... С Исой опять неладно. Похоже,  
что-то надумал он. Одичал уж очень...

— С чего ты взял? — сделал я удивленное лицо. —  
Иса как Иса. Никакой дикости я в нем не замечал, если  
не считать той, которая в нем от природы. Тут уж ничего  
не поделаешь.

Энвер посмотрел мне глубоко в глаза. Вздохнул:

— Мне кажется... он обо всем знает. Не ребенок ведь...  
Если мы сами не скажем ему...

— Ну что, что мы должны ему сказать, не понимаю!

— погоди, не кипятись. Видишь, как ты сразу начал:  
«мы» — «он». Я лежу, брат, целыми днями, уставясь в  
этот потолок, и мысли, мысли в голове... От них никуда  
не денешься. Мне кажется, Иса хочет бежать из дома...

— Ну сказанул! С чего бы это ему бежать?

— Ага, давай не будем играть. Я уверен, Иса прекрасно знает, кто он, откуда родом, как появился в нашей семье. Если поговорить с ним открыто, честно...

Энвер не договорил. На улице что-то шарахнуло. Это признак приближения Исы. Всякие двери, какие встают перед ним, да и нашу жердяную калитку он открывает пинком.

— Послушай...— сказал я брату внушительно, прислушиваясь к шуму снаружи.— Не лезь не в свое дело. Без тебя разберемся. Я прекрасно знаю, почему Иса так ведет себя. Если не понимаешь этого, то полеживай себе.

— Вот именно! Я полеживаю, ты учишься, Султанье тоже. Одна мама крутится, чтобы нас прокормить! Лучше уж положили бы меня в больницу — и то было бы легче...

— Ты помолчишь или нет?

В комнату влетела сумка, следом в дверь просунулась и голова ее хозяина. Узкое смуглое лицо, дикие взлохмаченные иссиня-черные кудри, такие же черные большие глаза, толстые губы.

— Привет, мужички! Чего совещаетесь? — Рот до ушей, надо надеяться, ничего не слышал из нашего спора.

— Явился не запыхавшись,— буркнул я, искажая правду: ботинки Исы были в толстом слое пыли, с брючин прямо-таки сыпался песок, темная рубаша в белых разводах от засохшего пота, руки черные от грязи.

— Как успехи? — поинтересовался я.

— Если ты говоришь о пятерках, то их нет. Впрочем, двоек тоже.

— Еще бы! С каких это пор на станциях отметки ставят? Сколько же ты, милый, сегодня заработал денег? Что разгружал?

— Каких денег? Какая еще станция?

Искреннее удивление, искреннее возмущение. Видимо, у нас рождается великий артист. Или умирает.

Я взял Ису за плечи, приблизил к нему лицо.

— Знаешь что, мальчик... Если ты сам дурак, не думай, что вокруг тебя тоже дураки. А ну скажи, где был!

Видно, я потрянул его сильнее, чем следовало: зубы Исы клацнули. А может, это тоже один из артистических приемов — кто знает? У них ведь этих штучек-дрычек — ой-ей-ей!

— Да в школе я был. Спроси у кого хочешь. Просто не выходил из класса. Дежурил.

Все я сношу, все терплю. Но когда вижу, что лгут, да так нагло, невинно глядя в глаза, — тут уж конец моему терпению.

Иса это сразу учуял своим собачьим нюхом.

— Ну, повтори, что был в школе.

— Ладно, — ухмыльнулся Иса. — На станции я был. Вагоны с лесом разгружал.

— И много заработал?

Иса выудил из кармана комоч засаленных бумажек:

— Тридцать рублей.

Я взял деньги, взвесил в руке:

— Ишь ты, тридцать рублей! Какие деньги, а? Целое состояние! Молодец, братец Иса, мо-ло-дец! А теперь напряги свой умишко и вспомни: когда ты видел маму последний раз дома?

На него не похоже — Иса в самом деле напрягся, на лбу даже морщинки загармошились.

— Около недели, кажись... Когда я просыпаюсь — она уже ушла на работу, когда я ложусь — она еще не пришла.

— Не останавливай своих шариков, не останавливай, пусть еще немного покрутятся. Вспомни, почему ты не видишь маму дома?

— Хватит, чего ты заладил, право! Потому я и пошел на станцию, что знаю: трудно матери придется...

— Неужели? Ты посмотри, а! Достойный сынок решил помочь мамочке. Пошел не в школу, а на станцию, лес разгружать. Цыплячьих мозгов его не хватило додуматься, что наша мама для того и старается, чтобы ее дети учились, как все, чтобы ее дети росли так же, как все, и не чувствовали, что они сироты...

— Додумался. Потому и пошел на станцию. Нелегко ей, бедняжке, нас четверых содержать. Ей нужно помогать.

— Да, нужно. Но не так, как ты думаешь. Если ты забросишь учебу, будешь таскаться по станциям разным, твои тридцать рублей не помогут ей, а доконают. Понимаешь?

— Понимаю. Но я все равно не могу сидеть сложа

руки. Я должен хоть какую-никакую пользу приносить дому. Иначе... иначе я не могу.

— О доме своем должны думать мы все. Но для этого вовсе не обязательно бросать школу. Вот придет лето, пойдем опять формировать кирпичи. Заработаем себе на одежду — разве это не помощь матери?

— А сейчас?

— А сейчас пойдй умойся и садись есть. У меня суп уже готов. И давай больше не будем. Но учти: еще раз выкинешь такую штуку — пожалеешь. Отлуплю до полусмерти.

— А эти деньги...

— Я их сам отдам. Придется что-нибудь соврать. А ты сегодня в школе был, ясно?

— Если Султанье не проболтается... — подал голос Энвер.

— С ней я поговорю. Ладно, пойду за супом. Тебе, Иса, хватит отлынивать. Доставай ложки, нарежь хлеба...

## II

Вечер. Султанье давно вернулась из школы, потом пришла мама с работы. Поужинав, сходили в школу, помыли полы. (Там мама числится уборщицей на полставки, но работу в основном выполняем мы — я, Иса и Султанье.) Теперь все дневные заботы позади, сидим при свете тихо потрескивающей лампы, каждый занят своим делом.

Султанье учит уроки. Ключет носом, но сидит. Она самая младшая у нас. За день устает здорово. А она ведь еще ходит с нами убирать школу. Таскает воду, выносит мусор.

Энвер что-то строчит в своем заветном блокноте. Стишки сочиняет. Этим делом он страсть как увлекается. И то хорошо, считаю я. Надо же человеку чем-то занять себя, иначе ведь с ума можно сойти. А то и руки на себя наложить. Но Энвер, к счастью, не из таковских. Гимнастикой занимается, стишки сочиняет, учится. В конце четверти или года приходят учителя, принимают экзамены. Спасибо им. Директор школы Рахымов всегда твердит: «Если только не помру или не выгонят с работы — обязательно выучу этого парня, он у меня закончит школу».



Иса лежит в своем углу, иногда исподлобья поглядывает на мать. Обижен он очень. Влетело ему сегодня по первое число, да. Мы пытались скрыть его «подвиг», но маме, оказывается, успел кто-то доложить, что видел Ису на Кабловской. Я уже и не припомню, когда она устраивала такой тарарам. Едва успокоили. А те тридцать рубликов чуть в печке не сгорели, будь они неладны. Хотя, посудить, вины-то их нет никакой. Но так уж мама себя ведет, когда дело касается Исы. Он у нас не родной брат. Приемыш. Попал к нам в годы войны. Зимой.

...Глубокой ночью кто-то громко постучал в окно. Мама испуганно вскочила с кровати, засветила лампу. Стук повторился. Делать нечего, подошла к окну, прильнула к стеклу. На улице стоял незнакомый человек.

«Кто там?» — спросила мама ни жива ни мертва. Еще бы, кругом война, дома она одна с тремя детьми.

«Откройте, тетушка. Умоляю всеми святыми, откройте!»

Мама поняла, что бояться человека, у которого так дрожит голос, нечего, что, скорее, человек тот сам в беде. Едва она отворила дверь, в сени ввалился посиневший от мороза курчавый человек. Был он без шапки, в валенках на босу ногу. Старая шубейка надета поверх исподнего. За плечом болтался короткий немецкий автомат. На руках незнакомец держал что-то завернутое в тулуп.

«Не пугайтесь, — выдохнул он, бессильно привалясь к двери. — Я вам плохо не сделаю».

Мама хотела пригласить его в комнату — в сенях было холодно, — но человек сделал нетерпеливое движение, продолжал:

«Я Куртнезир Берекетли из деревни Таблá. Как видите, цыган. Не воровал, никого не обижал, тихо-мирно занимался своим ремеслом. Сапожник я. Но оказывается, я виноват в том, что родился цыганом. Они решили уничтожить всех цыган, как и евреев. — Человек кивнул на улицу. — Сегодня вечером заявили к нам. Я как раз во двор по нужде вышел. Ну, пока они в передней комнате возились с моими — там у меня были семидесятидвухлетний отец, жена и старшая дочь, — я подкрался к часовому у двери, ударил его лопатой по голове, подобрал автомат и вошел в заднюю комнату, где спал сын...»

Мама только теперь догадалась, кто был в свертке.

«Я мог положить наши жизни там, в доме, но решил: пусть хоть один из нас выживет. Умоляю вас, сестрица, возьмите маленького к себе. Зовут его Иса. И на цыгана-то вообще он не слишком похож. Скажете, ваш сын,— поверят».

Мама все глядела, ошарашенная, то в лицо Берекетли, то на сверток.

«Знаю, сестрица, это может немало горя вам принести, да что делать? Ну, в случае чего, говорите, что прибулдился к вам... Откуда, мол, мне знать, чье это дитя?»

«Хорошо, оставьте...» — прошептала мама, беря испуганно дрожащего мальчика на руки.

«Да благословит вас аллах, воздаст вам сторицей за вашу доброту! Ну, я пойду. Боюсь, что недалеко уйду. Да я и не хочу. Только отвлеку их от вашего дома. Но жизнь свою я отдам дорого, отомщу за него и за тех», — он кивнул на сына и опять на улицу, стащил из-за спины автомат.

«Постойте! Назовите хоть кого-нибудь из ваших родных».

«Младший брат только остался. Илимдár Берекетли. Он на фронте. Живой или нет — не знаю...»

Мама наспех уложила Ису, погасила свет и долго прислушивалась к тишине. Вскоре вдали загремели выстрелы, залаяли собаки. Потом все стихло. Но уснуть мама не смогла. Села в постели и стала думать, как быть дальше. Фашисты нас самих могли расстрелять в любую минуту, как семью красного командира. А тут еще цыганенка пригрела. Не ровен час, прознают — тогда все. Смерти не миновать.

Мама решила уехать к сестре. В родной деревне она давно не была, так что там никто наверняка не знал, сколько у нее детей. Да и вдвоем горе легче хлебать, опорой будут друг дружке.

Так и сделала мама, переехала к сестре. А та, оказывается, до войны работала секретарем сельсовета, и у нее сохранились бланки с печатями. Иса Берекетли стал Таймазовым. Нашим братом. Потому у мамы и особое отношение к нему, к Исе. После всех перенесенных мытарств и страхов она боится за Ису больше, чем за нас. Что, если парень отобьется от рук, бросит школу,

спутается со шпаной, которой кругом полным-полно, пойдет по кривой дорожке,— ради того ли она рисковала, ради того ли старалась уберечь детей, выстоять, выжить, наконец, в те страшные годы!

А Иса... Иса, я думаю, не мог запомнить ту страшную ночь, когда очутился у нас. А дальше жил как в родной семье, никак не чувствуя себя приемным. Но ведь кто-то мог и сказать ему, мало ли пакостных людишек. Может, потому и старается, дурачок, по-своему отблагодарить маму, да не понимает, что горе тем самым доставляет ей, а не радость...

Иса — сирота. А мы кто, разве мы не сироты? Выходит, и бедовать нам вместе, и радоваться, и нечего тут выпячиваться, ну.

— Ой, не могу, спина разламывается! — вскинулась вдруг Султанье, потирая обеими руками поясницу.

— Ревматизм,— скорбно вздохнула мама.— У всех у нас эта проклятая болезнь. Все потому, что на сыром земляном полу спим.

— А что вы сделали, когда я принес доски для нар? — подал голос обиженный Иса.— А то еще б немного достали — и пол могли настелить.

— На кой мне твои ворованные доски? — вскрикнула мама.— Лучше я на голой земле буду спать, сорока болезней не побоюсь, но воровать вам не позволю, понятно?

— Понятно-то понятно,— пробурчал Иса,— но вот ее поясница понимать не хочет. Болит, и все тут.

— Ничего, перетерпим. И не такое видали.— Голос мамы вдруг стал мягче, лицо посветлело.— Знаете, дети, если бы отец наш был жив, он непременно построил бы дом. Нельзя вечно по чужим углам ютиться.

— Это здесь-то дом? — удивился Иса, постучав голой пяткой по полу (шерстяные чулки его как раз штопала мама).— Да легче в горах, на голых камнях, строиться, чем здесь. Участок-то на три метра выше арыка! Пустыня.

— И на голых камнях строились — ничего. Жили. Даже сады разводили. В мешках из долины землю таскали, в камнях чаши выдалбливали и росу собирали, чтоб виноградники поить... А тут вода под боком, добраться до нее мы уж как-нибудь сумеем.

— А лес? Лес-то сейчас на вес золота...

— Погоди,— прервал Ису Энвер.— Дай маме сказать.

— Обо всем этом я уже думала, сын. Ты молодец, сразу заметил самое трудное. Со временем будешь мне хорошим помощником. Но я б не стала огород городить, если семь раз не отмерила...

Мама поправила фитиль лампы, поглядела на Энвера — тот заговорщицки заулыбался.

— Верно, денег у нас нет. Но мы их достанем. Я слышала, райисполком дает ссуду переселенцам, желающим строиться. Десять тысяч рублей. Другое дело — хватит их или нет, но ведь главное — начать, а там как-нибудь выкрутимся, разве не так?

Мы молчали. Да мама и не ждала нашего ответа. Она, казалось, говорила все это самой себе, уверяла, убеждала себя, что ничего нет невозможного, если очень захотеть.

— Нет леса. Он дорог, да. Но у нас уже есть лес на одну комнату будущего дома.

Мы удивленно переглянулись. Мама указала пальцем на потолок. Мы подняли головы: почерневшие от времени и копоти, отстоящие друг от друга примерно на метр балки. Поперек их — полуовальные, в три-четыре пальца шириной, вплотную пригнанные дощечки — вассá.

— Кибитка наша из гувальяков<sup>1</sup>, значит, у нее есть деревянный каркас. Если дом строить из сырцового кирпича, каркас освободится. Выходит, балок, досок каркаса вполне хватит, чтобы покрыть крышу хотя бы одной комнатки, не расходуя ни копейки.

— Сколько же комнат, вы думаете, будет в доме? — поинтересовался я осторожно.

— Три комнаты. Веранду можно пристроить потом, когда дом будет готов. И отдельную кухню.

— Ну, это чересчур, мама! — воскликнул я. — Это ведь лет на десять работы. Как мы справимся?

— Справимся, сынок. У нас говорят: «Глаз труслив, рука отважна». Понадобится десять лет, будем десять трудиться. Пятнадцать так пятнадцать. Главное, у нас будет свой дом. Ваш золотой порог, который вас всегда будет ждать. Родной дом, который вы постройте сами для себя...

---

<sup>1</sup> Г у в а л ь к — глиняный катыш круглой или овальной формы, высушенный на солнце, употребляется для кладки глинобитных заборов — дувалов — или стен.

Мама вдруг пригорюнилась, часто-часто заморгала, закрыла тонкими, сухими руками лицо.

— Не надо, мама, — обнял ее Энвер. Он сидел к ней ближе всех. — Ну чего теперь... Давайте лучше посмотрим чертежи. — И достал рулон миллиметровой бумаги.

— Давайте, — улыбнулась мама, утирая ладонями мокрые щеки. — Объясняй сам, сынок, ведь ты здорово поработал над чертежами.

Мы все сгрудились вокруг Энвера. Да, в самом деле здорово поработал мальчик. Я сам выпрашивал эти миллиметровки у нашего математика Наума Ефимовича, приносил Энверу. А он ни словом не обмолвился, зачем ему бумага, конспиратор.

Вот наша хижина. Прижалась к невысокому дувалу, отделяющему наш двор от мечети. К левому боку мазанки прилеплен тандыр — глиняная печь для выпечки лепешек. Мостик через арык, который полуогibaет наш двор. Жердяная калитка, забор из кукурузных стеблей. Огородик покрашен веселым зеленым цветом. Остальная часть участка заштрихована оранжевым, каким на картах обычно изображают безжизненную пустыню.

Справа от хижины, в углу двора, образованном северной стеной дома и дувалом мечети, небольшой навес, под которым очаг. Тропинка вдоль дувала ведет к строеньицу. Оно без затей, огорожено снопами кукурузных стеблей. Крыши нет. Не засидишься.

— Молодец, Энвер! — восхищенно протянул Иса. — Да ты настоящий художник.

— И инженер, и техник! — добавила мама. — Покажи, сын, твои расчеты.

Неумеренные похвалы Энвер пропустил мимо ушей. Спокойно развернул следующий лист. На нем двор был разделен на три части, заштрихованные разными цветами и обозначенные буквами «А», «Б», «В». «ОЧЕРЕДНОСТЬ РАБОТ» — значилось в заглавии.

Энвер раскрыл ученическую тетрадь в клеточку, солидно откашлялся и начал читать:

— «Пояснения к чертежу. Для возведения стен двухкомнатного дома потребуется сырцового кирпича в количестве пятнадцати — двадцати тысяч штук. Трехкомнатного — не менее тридцати тысяч. Поскольку использование старого дома будет продолжаться вплоть до последней



стадии строительства нового, то есть до подведения последнего под крышу, целесообразно установить очередность использования частей участка. Формовку необходимого количества кирпича лучше всего производить в секторе «В» (понимай — в конце двора), где кирпичи будут складываться для хранения и никому не мешают в случае удлинения сроков стройки.

В секторе «Б» по мере физической и финансовой возможности вырыть котлован, а затем заложить фундамент. Другую половину части «Б» использовать для изготовления глины.

Сектор «А». По возведении стен дома старый дом разбирается (предпочтительно в летний период), освободившийся лес идет на покрытие крыши одной или двух комнат, гувальяки складываются на другой половине сектора «А». Они используются для возведения дувала на месте нынешнего забора из кукурузных стеблей, отделяющего двор от арыка и дороги. На месте старого дома разбить виноградник...

Энвер обвел нас строгим, сосредоточенным взглядом. Мама ободряюще улыбнулась.

— Все, что ли? — спросил Иса.

— Немного осталось, — ответил Энвер. — «Примечание. Под виноградником рекомендуется проложить дорожку, ведущую от улицы к дому. Вдоль нее по обе стороны предпочтительно разбить цветник. Часть площади под виноградником, поближе к дому, превратить в зону отдыха: поставить сури<sup>1</sup>, вырыть небольшой хауз<sup>2</sup>. На сури можно вечерами отдыхать, спать в жаркую летнюю пору.

По окончании строительства по мере необходимости будут возводиться вспомогательные постройки рядом с домом. Свободная от них и виноградника часть двора будет использована под огород, там же высадим плодово-ягодные деревья. План их размещения требует отдельной разработки...»

— Вот и обстроились! — хохотнул Иса, выждав момент, когда Энвер умолк. Позволить себе перебить его он не мог. — И цветник готов, и даже сури для отдыха.

---

<sup>1</sup> С у р и́ — помост, широкая деревянная кровать.

<sup>2</sup> Х а́ у з — бассейн, искусственный водоем.

Расселись мы все на нем, тубетеечки рядом положили, в клетках над нами перепелки векекают, а чайханщик Меликузы на громадном блюде плов несет: «Ешьте, дорогие!» Ну и фантазеры вы, скажу я вам!

Я изо всей силы надавил пяткой на голень Исы («Может, заткнешься?»), но он спокойно отодвинул ногу и закусил удила:

— Нельзя же быть такими, право! Голые камни? Давайте сюда, давайте, очень хорошо, что голые камни, будем строиться. Воды нет, далеко вода? Еще лучше, мы ее как-нибудь достанем, уж будьте уверены. Отличимся!

— Да разве мы специально ищем самую плохую землю?! — воскликнул Энвер горько. — Кто бы отказался от жирной земли, близкой воды и хорошего дома на хорошем участке? Нет их, и никто их тебе не даст. Освой то, что никому не нужно, вырасти сад, дом построй, чтоб все тебе завидовали, восклицали: «Машалла!»<sup>1</sup>

— Скажут тебе «машалла», если вдруг объявится хозяин участка!

— Нет, не объявится. Ведь не мог же хозяин довести бедную землю до такого состояния! — Губы мамы упрямо сложились вместе — две ниточки. — Арык ниже участка на три метра? Ну и что? А мы снимем слой земли в три с половиной метра. Некуда ее будет девать — станем на носилках, на тачках выносить, в мешках на спине, в карманах, в горстях! Но вынесем столько, сколько понадобится. И вода как миленькая придет к нам! — Мама с силой ткнула указательным пальцем в листок с «Пояснениями к чертежу». — И будет у нас в секторах «А», «Б», «В» и сад и огород. И цветник разобьем. — Она приблизила лицо к Исе. — И плов будем есть на сури, и приемник заиграет. А ты, горе луковое, спляшешь еще «Хайтарму» под музыку того приемника.

— Что ж, вы хотите, чтоб мы всю жизнь колупались над этим домом? Чтоб других забот не знали! — изумился Иса. Видно, он представил, какая колоссальная — так оно и было! — работа нам предстояла, если мы возьмемся за осуществление плана, так любовно и мастерски разработанного Энвером. — Только дом, дом, дом!

— Не просто дом, а золотой порог, сын, — тихо ска-

---

<sup>1</sup> «М а ш а л л а!» — «Молодец!», возглас восхищения.

зала мама. — Золотой порог. Отчий кров. Откуда уходят, куда приходят. С радостью или с бедами. Имея золотой порог, нельзя потерять душу, имя, честь. Свою историю, наконец, свою память. Я знаю, вы разлетитесь по свету. — Мама глянула на меня и поспешно отвела взгляд, глянула на Султание с улыбкой — ты-то уж, мол, обязательно улетишь. — Ну и бог с вами, держать-то вас никто не вправе, во всяком случае, я держать вас не стану, но отчий кров у вас должен быть — вот за это я в ответе. Перед памятью предков, которые требуют, чтобы мы не развеялись песчинками, перед своей совестью. Этого требуют останки вашего отца, наконец! И я перемогу все, чтобы исполнить их волю, добиться своего. Это мой долг матери. Да и стыдно так жить, дети, вы только посмотрите...

### III

И мы как бы по-новому увидели нашу комнату, если можно ее так назвать.

Грубо сколоченная, щелястая, открывающаяся наружу дверь. Справа от нее на колченогом табурете стоит ведро с водой. На куске фанеры, служащем его крышкой, жестяная кружка. В метре от двери низкое, узкое оконце. Рама наглухо вмурована в стену, потому оно не открывается.

В простенке между дверью и окном зимой складываются дрова.

В противоположной стене две токчи — ниши. В одной стоят два чемодана с одеждой, на них мы складываем каждое утро нехитрые свои постельные принадлежности. В другой нише, что поближе к печке, сделаны полки. На них стоят наши учебники, тетради, посуда какая есть, разная мелочь. В уголке, образованном печкой и стеной, стоит хона<sup>1</sup>. Здесь мы едим, сидим вечерами, вот как сегодня. На полу постлана рогожа, поверх которой лежат набитые ватой миндэры — небольшие тонкие матрасики; вдоль стены и к боку печки прислонены длинные подушки, набитые соломой. Вокруг хоны мы рассаживаемся в таком порядке: мама, Султание — спиной к печке, Эн-

---

<sup>1</sup> Хона — низкий круглый столик на трех ножках.

вер, Иса — у стены, я с любой другой свободной стороны. У меня, так сказать, передвижное место. И миндер у меня свой, полметра на полметра, могу и тут сесть, могу и поближе к печке, дровишек там подкинуть или что подать меньшим. А такая нужда частенько появляется: только сядут есть — одному попить захотелось, другому соль потребовалась...

Стены комнаты неровные. Это гувальяки торчат. Стегать их мы поостереглись, сочли, что дом ветхий, лишний раз сотрясать его рискованно, еще обвалится. Щели между гувальяками заделали глиной, сверху обмазали саманкой<sup>1</sup> и лишь потом побелили известкой. Побелка получилась не совсем белой, но мы были довольны и этим — все же лучше, чем просто глина.

Пол земляной, твердый как камень. На лето мама разводит в ведре коровьи лепешки, протирает полученной жижей пол — говорят, поменьше насекомых забредет, да и прохладно будет. Что верно, то верно, в доме летом прохладно, но, к сожалению, холодно и сыро в нем и зимой. В морозные дни по утрам из постели вылезать страшно: в комнате такая же стужа, что и на улице, если не холоднее. Одеяла, простыни, подушки всегда влажные от сырости, точно после стирки. Вот откуда ревматизм у Султанье. Впрочем, мы могли схватить эту болезнь и гораздо раньше, когда мытарились по чужим углам. Сейчас-то что, мы — кум королю, вроде бы как свой дом имеем, никому не подчиняемся, ни перед кем не отчитываемся. А до этого помучились — вспоминать тошно.

Жили мы у одноглазой старушки Майсурь во второй половине ее кибитки. Пустила она нас с условием, что комнату освободим, лишь только вернется ее непутевый сын. Он работал бухгалтером в колхозе, растратил казенные деньги и сбежал в город Исфару, что в Таджикистане. К старушке каждый день навещался нарочный из сельсовета, спрашивал, куда девался сын (ни для кого не было секретом, куда он уехал), страдал, что растратчик этот будет судим, как только вернется в кишлак. Майсура-хала<sup>2</sup> понимающе кивала головой, усаживала нарочного в почетный угол, подавала ему пиалу чая

<sup>1</sup> Саманка — жидкая глина, смешанная с мелко нарубленной соломой, служит штукатуркой.

<sup>2</sup> Хала — тетушка.



и, глядя немигающим глазом, говорила: «Судите, коли поймаете. Я тех денег и в глаза не видела — все он проел-пропил в чайхане с друзьями». Старуха особо не беспокоилась, что сына ненаглядного в один прекрасный день упекут за решетку: она целиком и полностью полагалась на недосыгаемость города Исфары, как на какую-нибудь дальнюю границу, точно и не отстоял тот городок всего в восьми часах езды поездом от станции Кабловской.

В чужой беде, конечно, искать выгоды не пристало, однако мы всей душой желали, чтобы Шермухаммед подольше пропадал в «эмиграции».

Непутевый не вернулся, но нам все же с осени пришлось перебираться в хлев Майсуры-хала: она купила два мешка кукурузы на зиму и для хранения зерна не нашла более подходящего места, чем комната, которую мы занимали. (Она и вправду стала подходящей после того, как мы ее обжили.)

Авральным способом мы чистили, скоблили, замазывали щели хлева, не совсем представляя, каково нам будет жить здесь зимой: все, что падало, мело с неба, за исключением малой доли влаги, которая поглощалась земляной поверхностью крыши, проникало внутрь каплями и струйками. Кроме того, у нас не было уверенности, что деятельная бабка не приобретет завтра что-нибудь вроде козы, гуся или какой-либо другой живности, которой, несомненно, снова потребуется наша жилплощадь.

Мама напряженно искала, куда бы нам эвакуироваться в таком случае, и тут нам повезло: к ней обратился чайханщик Меликузы, горбатый старик с большой плешивой головой. Он сказал матери, что больно стар уже и недуги одолевают его, один не справляется с работой, ему бы мальчика в помощники, который подметал бы чайхану и двор, разжигал самовары, разносил посетителям чай. Мама ответила, что такого мальчика у нее нет, ее дети учатся. Меликузы согласно кивнул: да, мол, знаю, учатся, но одно другому не помеха. Ваш старший сын вроде сметливый и проворный парнишка (это он обо мне), сумеет и в школу ходить, и мне помогать, в чайхане ведь работа — не землю пахать и не заводская смена: улучит минуту и за учебниками посидит, позанимается. Поселитесь в боковушке, она изгородью отгорожена от чайханы,

никто вам мешать не будет, живите себе, да и мальчику далеко бегать на работу не придется. Квартплату с вас брать не буду, а проявит парень усердие, угодит посетителям — глядишь, и несколько таньга заработает.

Предложение, надо сказать, было заманчивым. В наших условиях выбирать не приходилось, но мама долго колебалась, прежде чем дала согласие. А я... я, что ж, даже обрадовался. Во-первых, в чайхане интересно, туда масса всякого народа ходит — и навидаешься, и слушаешься разного. Во-вторых, главное — сносная крыша будет над головой (мы вначале сходили посмотрели ту боковушку), в-третьих, и приработочек какой-никакой... Чего уж тут размышлять?!

Два года с небольшим жили мы в той боковушке. Столько же я и трудился в чайхане в качестве бола — мальчика. «Эй, бола, битта чой!» (Несешь чайник чаю!) «Эй, бола, иккита чой!» (Несешь два чайника!) В опорожненные чайники насыпаешь заварки, заливаешь кипятком и ставишь на угли. Пиалы споласкиваешь в ведре с теплой водой. И свободен, пока опять кому-нибудь не понадобится.

Чайханы в те годы, да и сейчас в некоторых районах, были своего рода клубом, где собирались мужчины посидеть за чайником чая, побалакать о том о сем, приготовить в складчину плов — словом, провести время. Готовящим плов я приносил дрова, вымывал казан, установленный во дворе, помогал перебрать рис, почистить морковь, поддерживать огонь в очаге. За труды мне перепадала чаша плова, который я нес домой. Собирались здесь также шахматисты, но чаще всего — картежники, народ удалой, азартный. Играли в самую распространенную у узбеков игру — «пирру», но резались и в «очко». Бывало, выигрывали немалые деньги, бывало, продували последние копейки в кармане, дом со всем скарбом.

Похаживал, например, к нам Мамарасул Кимарбоз — Игрок, получивший такое прозвище за пристрастие к азартным играм. Вот это был мастер своего дела.

Пальцы у него были короткие, толстые, как сардельки, ходил он обычно, благообразно сложив руки на впалом, точно прилипшем к спине животе, какой рисуют в мультфильмах у голодного волка. Но в еде Мамарасул себе не отказывал: если брал, то тринадцать палочек шашлыка,



три лепешки и три чайника зеленого чая. Когда готовили плов, специально для него закладывали в казан тринадцать печеных яиц и три поджаренные в масле айвы. Плов подавали ему отдельно в трех глубоких косушках. Вообще он очень любил цифру «3». Она-то, кстати, и доконала его, несмотря на всю его любовь к ней. (Мне все-таки кажется, что это была не любовь, а своеобразное поклонение идолу, тайное желание убажить, смилостивить несчастное, нежелательное число.)

В «турнирные дни» Мамарасул Кимарбоз и крошки не брал в рот: подстегивал себя анашой, заправленной в папиросы, чайниками поглощал горячий, густой до клейкости чай. На изможденном, с неестественно глубокими морщинами лице сверкали колющие, острые глазки. За голенищем сапога или на поясе появлялся длинный, острый, из чувской стали нож в кожаных ножнах — поостерегись, брат, смухлевать...

Лоб Мамарасула был узкий, приплюснутый, цвета спелой дыни. Но за таким малопривлекательным лбом скрывалась настоящая ЭВМ: она запоминала все карты, выбывшие из игры, подсчитывала, сколько и какие остались в колоде, проигрывала все возможные варианты выпадения карт в следующем заходе.

А уж во время игры пальцы-сардельки приобретали такую ловкость и эластичность, что завораживали человека, как змея кролика: карты с тихим треском отрывались от колоды, веером ложились на дастархан<sup>1</sup> перед каждым игроком. Разделял колоду на две части, проводил ребром одной о другую, и карты в мгновение ока складывались вместе — карта заходила за карту, как если бы вкладывали две расчески зубьями в зубья.

Фокусы проделывал Мамарасул — сейчас я и не вспомню, до того они были разнообразны, прихотливы и неожиданны.

Когда я начал работать в чайхане, Кимарбоз крепко держал удачу и везение за хвост: обладал тремя домами (один в нашем кишлаке, два — в Маргелане) и тремя зазнобами, хотя, как я понял, женщины его мало интересовали. Все знали, что дома-то он появлялся раз в году — правда, всегда давал жене деньги на хозяй-

---

<sup>1</sup> Д а с т а р х а н — скатерть.

ство, — но зачем ему еще три зазнобушки, мне неизвестно. Не знал, наверное, этого и сам Мамарасул Кимарбоз. Он и не желал ничего знать, жил себе как бог на душу положит.

К закату моей карьеры помощника чайханщика (причиной которого стал, кстати сказать, тот же Мамарасул) он, видно, зазевался — красавица удача вырвалась, и Мамарасул в течение одной ночи лишился и домов, и зазноб-красоток своих. Остался гол как сокол. Податься ему было некуда, и Мамарасул поселился в чайхане. Но, как говорится, пришла беда — отворяй ворота: через день Игрок слег с жестокой простудой, перешедшей в воспаление легких. У меня прибавилось забот: пришлось ухаживать за больным. Поскольку Мамарасул наотрез отказался лечь в больницу, я уговорил маму подлечить несчастного.

В первые дни Кимарбоз лежал пластом, даже глаза не желал открывать. А когда болезнь малость отпустила, ожил. В благодарность за усилия мамы в спасении его драгоценной жизни и мои заботливые ухаживания, а также от скуки и от нечего делать Мамарасул взялся обучить меня премудростям картежной игры.

Я оказался способным учеником: крепко запоминал все, что он показывал. Подбадриваемый Мамарасулом, я начал подсаживаться к картежникам, играть по маленькой. Как говорил мой учитель — устóз, «набивал руку». У меня стали водиться денежки, вечерних турниров дожидался с нетерпением. Чайханщик Меликузы видел, что я подсаживаюсь в круг хмурых, озабоченных кимарбозов, покачивал большой головой, поцокивал языком, но открытого порицания не высказывал. Во-первых, я играл, но головы не терял. Когда игра накалялась, банк рос, вдруг вспоминал, что у меня работа, вставал и уходил, — впрочем, тоже «наука», преподанная Мамарасулом. Во-вторых, обязанности свои я исполнял по-прежнему аккуратно, споро, так что чайханщику грех было жаловаться на меня. А что я играю — его не касалось. Кроме того, как я теперь понимаю, он не встревал в это дело, поскольку опекал меня сам Мамарасул Кимарбоз, которому Меликузы был, наверное, кое-чем обязан.

Разоблачила меня мама. Как-то, собираясь постирать мои штаны, она полезла в карманы и в обоих обнаружила

по комку замусоленных, мятых денег — рублей четырехста. Мама потребовала объяснить, откуда денежки, я не смог сказать ни правды, ни как-то складно соврать, оправдаться. Ну, шум, слезы, как водится, потом мама пошла к чайханщику, выпытала у него все. В тот же день, хотя нам некуда было податься, мы съехали с боковушки Меликузы.

Мать запретила мне отныне и впредь ногой ступить в какую-либо чайхану, с делом и без, а что карт больше никогда в жизни в руки не возьму — такую клятву заставила произнести, что повторить ее и поныне страшно. Я должен был помянуть останки папы, здоровье мамы, мои глаза, которые могут ослепнуть, и прочее, прочее — так напугало мать мое неожиданное увлечение.

Итак, мы опять оказались на улице. И, как назло, опять осенью. Мама обратилась за содействием в сельсовет. Председатель Ибрагím Байматов обещал помочь, но, пока он что-то для нас подберет, посоветовал временно разместиться в клубе, в небольшом длинном помещении, примыкавшем к сельсовету. (Обычно здесь показывали кино, но сейчас клуб бездействовал — не было кинемеханика.)

Стулья в клубе отсутствовали: во время собраний, представлений, чаще всего концертов заезжих артистов люди рассаживались прямо на полу. В конце зала на табуретках, принесенных из сельсовета, устраивались сам Байматов и его окружение, как бы образуя служебную ложу.

Не успели мы втащить свой скарб в новое жилье — хлынул дождь. И выяснилось, что фанера, прибитая к потолку и выкрашенная в зеленый цвет, призвана только прикрывать щели и дыры, усеявшие крышу. Дождь хлестал нещадно, шаг за шагом гоня нас к сцене, где мы под конец и оказались. Теперь представьте, как живописно мы расположились на сцене (здесь меньше текло). Там и сям стояли чашки, плошки, кастрюли, ведро, издавая разнообразный звон; мы лежим под ветхими одеялами, освещенные светом семилинейки, или едим, устроившись в кружок, набросав на плечи одеяла, мешковину...

Если бы зал был полон людей, а мы не видели их и жили своей жизнью, то зрители, наверное, наблюдали бы за нами с неменьшим интересом, чем за развитием

сюжета какого-нибудь спектакля. Но нас мало кто видел, разве что сторож, от нечего делать нет-нет да заглядывавший в клуб, и активисты сельсовета, которым было интересно посмотреть на людей, живущих на сцене.

Полтора месяца играли мы этот спектакль, пока однажды Байматов не пришел радостно-возбужденный и не заявил, что у нас будет «почти свой дом, только придется немного потрудиться». Так мы заняли эту вакуфную хижину. Адрес свой мы еще долго писали так: «Кишлак Каттаюль, улица Селькельды, вакуфный дом без номера, который стоит у старой мечети». (Собственно, и другие дома кишлака в те годы не имели номеров.)

Я исподлобья взглянул на маму. Она сидела, закрыв глаза и тихонько раскачиваясь из стороны в сторону. Губы ее заметно шевелились — то ли мама читала молитву, то ли разговаривала с кем-то, кого мы не могли видеть и слышать.

«Я знаю, вы разлетитесь по свету. Никто не вправе держать вас», — сказала мама печально и с безысходной горечью. Конечно, если посудить, все к тому и идет. «Девочка что ласточка, — говорят у нас, — долго не удержится под родительской кровлей». Так оно и есть. Куда поведет судьба, туда и последует. Выходит, Султанье уж точно упорхнет от нас, дайте только срок.

Иса... Иса, быть может, и того раньше исчезнет. В любую минуту. Найдись кто-либо из его родичей, надо думать, тотчас заберет парня к себе. Родной дядя его, Илимдар Берекетли, несмотря на усилия мамы, не нашлся. Куда только мама не обращалась, но внятного ответа так и не получила. Писала она, конечно, не для того, чтобы сбегрить Илимдару племянника, вовсе нет, это она объясняла тем, что, дескать, мальчик рано или поздно должен узнать, чей он сын, и, если найдется хоть один человек из их рода, ему будет легче жить на свете. «Дереву без корней не устоять под солнцем», — приговаривала мама. Увы, корня Исы мама не нашла, а ему, по-видимому, трудно привиться к нашему дереву, стать одной из его ветвей.

Что касается Энвера, он, наверное, всегда будет с мамой, уйти он никуда не сможет, да и какой от него,

бедняги, прок, коли, скажем, мама вдруг захворает, слегнет? Он ведь сам что малое дитя, постоянного ухода, заботы требует...

«Удерживать вас никто не вправе...» Эти слова сейчас скорее всего адресованы мне. Наверно, на моем лице ясно было написано мое состояние, когда обсуждался вопрос о доме, вот мать и поспешила успокоить меня. Она знает, что с некоторых пор я заболел одной болезнью, одной мечтой — ношусь с ней днем и ночью...

В те дни с людских уст не сходили слова «целина», «целинники». Газеты и радио тоже много говорили о целине, делая упор на романтику; транспаранты и плакаты горячо призывали помочь целине, откликнуться на зов древней земли, киножурналы показывали составы, облепленные кумачом и цветами; из окон выглядывают красивые круглолицые юноши и девушки, заливающиеся счастливым, задорным смехом; на станциях духовые оркестры, толпы народа...

«Комсомольцы, вперед на освоение целины!»

«Даешь целину!»

«Вас ждут великие подвиги!»

Вот я и решил после школы поехать на целину, совершить свой подвиг. Макит с легкостью небывалой согласился составить мне компанию. «А что, понимаешь, кейфанем от души!»

Хлюпики, значит, не выдюживают на целине? А мы подготовимся физически. Двухпудовая гиря для этого в самый раз! Обзавелись гирями — пошли потогонные тренировки. И целина как-то сразу приблизилась к нам.

Романтика? Позаботились мы и о романтике. Купили в складчину гитару, отделанную перламутром. Правда, играть мы не умели, да разве это важно? Струны сами запоют, когда окажутся в бескрайней степи, под полной ласковой луной, при свете жаркого костра, вокруг которого сидят усталые, но полные энергии и молодого энтузиазма девчата и парни, на славу потрудившиеся днем и теперь предающиеся заслуженному поэтическому отдохновению.

Пой, гитара, пой,

Расскажи ты ей

О любви моей,

Может быть, она еще вернется...

А кругом тихо колышется, шепчется море хлеба, песня летит над безбрежной ширью, устремляется ввысь, к ярким звездам и полной луне...

Макит точно знал, куда он денет те мешки денег, что загребет на целине: купит «Победу» цвета кофе с молоком. И на ней обязательно установит радиоприемник, такой мощный, что его звук будет слышен минимум за три километра.

Я о таких покупках не помышлял, просто терялся при мысли о возможности обладать большими деньгами, но твердо знал, что каждый месяц буду посылать матери переводы, а Энверу обязательно куплю фотоаппарат «Зоркий», о котором он бредит днем и ночью...

Надо признаться, честолюбие наше не останавливалось на полпути: порой мы видели свои портреты на страницах «Комсомольской правды» и жирными буквами надпись над ними: «Вчерашние школьники — бесстрашные степные орлы!»

— Селямет окончит школу лишь через год. А сейчас только весна, значит, в запасе у нас два лета, — продолжала мама, как бы отвечая моим мыслям. — Нам бы только стены поставить да хоть одну самую маленькую комнатку под жилье приспособить, пусть без пола, без побелки...

Голос мамы вдруг странно сел, задрожал. Она отвернулась и стала поправлять фитиль лампы. У меня тоже запершило в горле и от тревожной неприятной мысли сжалось сердце: «Неужели мне так и суждено: ничто, о чем я мечтаю, не сбудется?!»

#### IV

Мама отнесла в райисполком заявление с просьбой о выдаче ссуды. Мы с Исой расчистили площадку в самом конце двора, говоря языком Энвера, «в секторе «В», утрамбовали землю, вечерами густо поливали. Площадка, на которой формируют кирпичи, должна быть идеально ровной, сухой и твердой. Поэтому Иса получил задание приводить сюда всю уличную ватагу и играть сколько влезет — пусть трамбуют землю. Пока площадка доходила до кондиции, я купил несколько ящиков из-под мыла, принялся сколачивать формы. Две я решил сделать че-

тырехсексионными — для себя и для мамы, одну — на три кирпича — для Исы. Султанье тоже заикнулась было, мол, и она хочет внести свою лепту в стройку, хотя бы ей, дескать, двухсексионную, но я потрепал ее по плечу и сказал:

— Без тебя обойдемся, красавица. Не по тебе эта работа — в грязи копаться. Ты уж лучше нам чай будешь носить. Или язму<sup>1</sup>.

Султанье настаивать не стала. Похлопала длинными ресницами, глядя на меня, потом спросила:

— А Энвер?

— Что Энвер? — удивился я.

— Вы будете работать, а он так и будет валяться дома?

В самом деле, об участии Энвера в стройке мы не подумали. А ведь он, так сказать, душа этой стройки.

— Скучно же ему, тоскливо... — добавила серьезно Султанье.

Ах ты моя крошка, сердчишко-то у тебя маленькое, а какое чуткое! А я треплю тебя по плечу как пустоголовую куколку...

— Ладно, сестренка. Не будет Энвер валяться дома. Что-нибудь придумаем.

В воскресенье поехали с Исой на Кабловскую, покопаться на свалке железного лома тамошнего нефтеперерабатывающего завода. Эта свалка весьма популярна у жителей окрестных кишлаков, где и кусок жести или болт с гайкой — товар остродефицитный. А на свалке, ходили слухи, один парень из соседнего кишлака Паулган нашел настоящий примус, правда неисправный, гореть не горел, но, когда счастливец натер его песком, заблестел, точно золотой. Паулганец выставил его в нише как украшение дома.

Мы же надеялись разыскать четыре колеса для тележки, на которой Энвер мог бы передвигаться по двору. А работу мы решили дать ему такую: когда мы месим глину или формуем кирпичи, он читает нам вслух. Может, учебник, может, какую развлекательную книгу.

Нашли мы всего три колеса: два одинаковых, а третье

---

<sup>1</sup> Я з м а́ — напиток; разбавленный холодной водой творог слегка подсаливается и заправляется тертым чесноком; хорошо утоляет жажду.



чуть побольше. Довольные, вернулись домой. Мы сразу придумали, что сделаем: большое колесо установим впереди тележки, рулевым, а два поменьше — сзади.

— А что, — сказал Иса, — с трех колес не свалишься. Я видел такую коляску, инвалидскую. Тоже на трех колесах. Только у нее были большие, велосипедные. Сидит себе безногий, руками рычаги двигает — вперед-назад. А рукоятку на правом рычаге крутанет — коляска поворачивается влево, вправо. На ней даже задний ход давать можно.

— Такая, наверное, тысячу рублей стоит, — заметил я.

— Вот бы купить! — загорелся Иса. — Тогда Энвер мог бы поехать куда захочет. Знаешь, как она быстро ездит: как велосипед!

— Когда-нибудь купим, — сказал я неуверенно. — А пока сколотим тележку, обстругаем две палки, удобные отталкиваться, — будет разъезжать Энвер по двору, и то хорошо.

Через несколько дней мне опять пришлось вспомнить о коляске, про которую говорил Иса.

Пришел я из школы, а Энвер сияет, как тот примус паулганца. Молча вытащил из-под подушки газету, сложенную вчетверо, молча протянул мне. Я взял ее, развернул — «Ферганская правда». Свежий номер. Поймав мой недоуменный взгляд, Энвер сказал:

— Читай. На четвертой странице.

Не совсем ясно представляя, что именно читать, я просмотрел заголовки: «Новый колхозный клуб», «Кино-механик — депутат», «Хозяйка процедурной», «Быт — забота общая», «Наша почта». Ничего такого, на чем остановился бы взгляд. Что же могло так обрадовать Энвера? Не объявления же — «В клубах и кинотеатрах Ферганы»?

— Эх, голова, ты «Нашу почту» читай. Нашел?

А-а, вот в чем дело, шайтан! Заметка, подписанная неким Э. Таймазовым. Ну-ка, ну-ка...

«Кишлак Каттаюль — один из крупнейших в Пахтакёрском районе Ферганской области. В колхозе «Ленин юлы»<sup>1</sup> трудится около 1200 человек. Хозяйство это при более 5 тысяч га посевной площади получает самые

---

<sup>1</sup> «Л е н и н ю л ы» — «Ленинский путь».

высокие урожаи хлопка по району. За последние годы население Каттаюля увеличилось вдвое. Если здесь в 1940 году работала одна неполная средняя школа, то сейчас действуют две средние и одна семилетняя. Население кишлака, не занятое на работе в поле, трудится в МТС, в разных районных учреждениях, а также на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Кабловская. В селе уделяется большое внимание восстановлению запущенного в годы войны хозяйства, много делается для улучшения быта трудящихся, благоустройства кишлака. Однако не совсем благополучно обстоит дело с обеспечением населения продуктами питания, в частности хлебными изделиями. Пекарня, действующая на территории колхоза «Ленин юлы», устарела, не удовлетворяет спроса населения. Людям приходится терять массу времени в очередях за хлебом. Ведь давно доказано: человек сытый работает лучше голодного, человек, понервничавший в очереди, уже не тот работник.

Сейчас в стране достаточно зерна, чтобы бесперебойно обеспечивать людей хлебом, была бы только инициатива. А инициативу могут и должны прежде всего проявить местные руководящие товарищи. Это их святой долг. Давно назрела необходимость ввести в действие в колхозе «Ленин юлы» новую современную хлебопекарню.

Э. Таймазов».

Ну-у дает! Если этот товарищ — наш Э. Таймазов, то жить можно. Свой летописец растет, это уже не мало.

Я поглядел на брата. Обычно бледное личико его покраснелось, глаза блестят, руки так и порхают над коленями, прикрытыми одеялом. Ждет ответа, оценки своих трудов.

— Ну как, ага, что скажешь? — вскинулся селькор Э. Таймазов с нетерпением.

Я уже догадался, понял, что помогло родиться этой заметке. Был у нас однажды разговор, когда я взмыленный, голодный вернулся из магазина с пустыми руками. На осторожные социологические вопросы Энвера отвечал резко, зло.

«В войну, ага, были талоны, нехватка. Неужели и сейчас обязательно простаивать за буханкой хлеба четыре-пять часов?»

«Шиш — обязательно. Да привези они на двести буханок больше и часом раньше — все было бы нормально».

«Может, для нашего села выделяется столько муки на день, на неделю, на месяц, что тех двухсот буханок, о которых вы говорите, испечь нет никакой возможности? Ведь известно: у нас плановое хозяйство. К тому же ощущается острая нехватка...»

«Чепуха. В самые наитруднейшие дни войны государство всех обеспечивало куском хлеба. И больше было порядку».

«А сразу после войны? — подхватил социолог-исследователь. — Дома ни крошки, а вы получали в школе пол-лепешки на завтрак. И мою долю приносили».

«И по грозди винограда выдавали или по два-три ломтя арбуза или дыни. Или горсть урюка. Первого сентября, по праздникам колхоз специально для школьников барашка резал, на школьном дворе ставили громаднейший казан и варили шурпу или плов. Вот был праздник! А сейчас... Все вроде должно стать лучше, покупай всего сколько хочешь, а ты из-за каких-то головотяпов остаешься без хлеба на целый день! Куда это годится?..»

«Вы не пробовали спросить у тех головотяпов, почему так получается?»

«Все как-то не доводилось, — хихикнул я. — Вечерами в чайхане, где мы все с ними отдыхаем, они сидят на одном сури, я — на другом. И потом, у них большие государственные заботы, неудобно как-то их отвлекать...»

...Руки Энвера все пляшут, пляшут над коленками, ждут ответа. Это ведь они не побоялись отвлечь больших государственных мужей от их ответственных дел.

— Большая заметка, — проговорил я. — Сам все написал?

— Конечно. Они ее еще малость сократили. Ты читай дальше.

— А что, есть продолжение? Ишь ты, вот... «От редакции. Когда заметка нашего внештатного корреспондента Э. Таймазова была подготовлена к печати, мы связались по телефону с ответственными работниками Пахтакорского района, ознакомили их с содержанием письма. Первый секретарь райкома партии т. Камбаров и председатель райисполкома т. Аскаров нашли актуаль-

ными поднятые вопросы, сообщили, что в целях наиболее полного удовлетворения спроса населения в Каттаюле принято решение построить новую хлебопекарню, ввод которой намечен к концу этого — началу будущего года». Послушай, Энвер,— посмотрел я на брата,— неужели в конце этого — в начале будущего года я уже не буду стоять в очередях за хлебом, а?

— Не будешь, ага, нет.

— Молодец, Таймазов. Ты великий человек. Знаешь что: если понадобится, я сам школу брошу, но тебя, негодяя, обязательно выучу. Дай я поцелую тебя в глазки.

— Но, но! — Энвер с головой нырнул под одеяло. Не любит человек целоваться, что тут поделаешь, ну.

— Ладно. Я тебе за эту заметку кебаб сделаю. Из своей доли мяса, которую должен в суп положить.

— Согласен,— вылез из-под одеяла наш внештатный корреспондент, уверившись, что угроза лобзания миновала.— Ух, получу гонорар, такой вам кебаб закачу — навек запомните...

— Что еще за...

— Гонорар,— подсказал Энвер.— Ну, денежки, которые заплатят за заметку.

— Денежки? Ишь ты! Выходит дело, денежки можно зарабатывать и лежа в постели?

— Нет, конечно,— усмехнулся Энвер.— Чтобы написать заметку, нужно собирать материал, побывать на месте, поговорить с людьми, увидеть все своими глазами. Вон как наш сосед Джамал-ака. Он ведь все время по району на велосипеде разъезжает, материал собирает. И пишет в районную газету, в областную «Коммуну».

— И сколько тебе заплатят за эту штуку? — кивнул я на газету.

— У Джамала-ака чуть поменьше моей была заметка в «Коммуне». Ему прислали перевод на триста тридцать восемь рублей с копейками.

— Слушай, парень, да с тобой, я вижу, держи ухо востро!.. — хохотнул я, представив себе, как Энвер бодро катит по проселочным дорогам на трехколесной инвалидной коляске, о которой с таким жаром говорил Иса. Эх, если бы мы смогли купить ему такую! Совсем другим человеком стал бы брат.

— А ты думал... — засмеялся селькор Э. Таймазов. — Журналист — это глаза и сердце общества.

— М-да. Если бы твоя заметка хоть чуточку помогла людям, знаешь, как бы тебя благодарили! В первую очередь я.

— Дело не в благодарности, — скромно потупился Энвер. — Главное — помочь людям.

— Ладно, Энвер, я думаю, все будет хорошо. И новую пекарню построят, и хлеба станет вдоволь, и ты станешь настоящим журналистом. Пойду работать — куплю тебе коляску, такую, знаешь, о трех колесах, Иса видел — шикарная машина, станешь и ты разъезжать по району, материал собирать. И фотоаппарат куплю. Тот самый, «Зоркий».

Энвер грустно покачал головой:

— Если будем строиться, придется каждую копейку экономить. Да и обойдусь я без коляски и аппарата.

— Нам и дом нужен, и ты, Энвер. Станешь писать — и нам своими гонорами поможешь.

Энвер вздохнул, опустил голову.

## V

Раннее утро. Небо синее-синее. Из-за зубчатых гор выглянул краешек багрово-красного солнца. Деревья, травы, даже черенки кетменей мокры от росы. Роса и пыль прибила, и горку песка увлажнила. Воздух свеж, прохладен. Иса, голый по пояс, в брюках, штанины которых вчера сам обрезал ножницами повыше колен, ежится, похлопывает себя по груди, по рукам. Мама предложила ему пойти одеться.

— Ни-че-го! — простучал герой зубами. — Как начну работать — враз согреюсь, да еще как! Где моя форма?

— погоди, сын. Давай присядем, — предложила мама.

Иса плюхнулся на перевернутую вверх дном форму, мать опустилась на ящик из-под мыла, который мы приспособили вместо стола, я сел прямо на землю. Мы все молча, задумчиво усталились на глиняную горку, гладко оглаженную мокрым лезвием кетменя, — так делается с вечера, чтобы глина «доходила» и чтобы не высыхала. На крутые бока горки легла роса и теперь ярко блестела под лучами восходящего солнца.

Глину мы приготовили вчера.

А делается это так. Разрыхляется земля в три-четыре кетменя глубиной и полтора-два метра в длину, залива-ется водой. Часа через два-три образовавшуюся глину перемешивают кетменем и ногами, а затем выкладывают на площадку, предварительно посыпанную песком...

В формовке кирпича у нас опыт есть: в прошлом году мы с Исой помогали колхозу строить коровник. С до-ставкой жженого кирпича случилась неувязка, и прав-ление решило не останавливать стройки — продолжали класть стены из сырцового кирпича. Ну, мы с Исой тоже подрядились отформовать по десять тысяч штук. Правда, за месяц мы осилили всего двенадцать тысяч штук, но делу научились, да и деньжат заработали кое-каких на одежду.

— Глина точно сдобная, — проговорил Иса. — Так и хочется куснуть. Хорошо дошла.

— Ладно, дети, пусть работа будет легкой. Всевышний да поможет нам. Давай, сынок Селямет, начини-ка ты по праву старшего.

Я взял свою форму, обрызгал ячейки водой из ведра, потом ополоснул песком — при этом на мокрые стенки ячеек прилип ровный слой песка, — подошел к глиняной горке, опустился на корточки, форму положил слева от себя. Обеими руками, как двумя ножами, приставлен-ными кончиками друг к другу, врезался в горку. От нее отделился комок глины величиной с голову жеребенка. Я покатал комок по песку, придавая овальную форму, потом поднял и шлепнул его в форму с таким расчетом, чтобы глина разом заполнила две ближние ко мне ячейки. Потом провел руками сверху, снимая излишки глины, вываливающиеся через борта формы, отбросил к горке. Обсыпал землю, где только что катал глину, песком, вновь врезался в кучу. Третья, четвертая ячейка. Форма полная. Взялся за ручки, поднялся и пошел к самому краю площадки. Осторожно опустив форму на землю, резко опрокинул и через две-три секунды легким движением поднял форму. На земле остались четыре пухленьких, ровно обсыпанных песком, как курабие<sup>1</sup> сахарной пудрой, сдобных, по словам Исы, кирпича.

---

<sup>1</sup> Курабие — домашние пряники особого изготовления.



— Ур-ра! — заорал Иса, вскинув над головой руки. — Четыре кирпича нашего будущего дома готовы!

Мама вдруг обняла его и всхлипнула. Я невольно остановился посреди площадки, держа в одной руке форму. Иса странно притих, прижался на миг к маминой груди, потом вырвался, подбежал к форме, которая предназначалась маме, схватил ее, упал на колени перед глиняной горкой и с остервенением отхватил кусок глины.

— Вот пятый кирпич! — заорал он. Высоко подняв над головой комок глины, яростно шлепнул в ячейку. — А вот шестой! Седьмой! Вы слышите там? Восьмой! Понятно, вось-мой?!

Иса был страшен в своей неумной, нечеловеческой ярости. Мама подбежала к нему, обняла за плечи. Она плакать перестала, но щеки и глаза были еще мокры. Из-под платка выбились пряди волос.

— Иса, сынок, не надо. Мы же договорились, что ты будешь работать маленькой формой.

Иса ужом выскользнул из ее рук, отступил на шаг:

— Вот эта моя форма, именно эта! А вашей тут нет и не будет. Мы не дадим вам возиться в грязи. — Он повел головой в мою сторону. — Мы с ним привычные. Понятно? Мы уже давно не дети.

Он бегом отнес форму в конец площадки и начал новый, свой ряд. Наблюдая за ним, я видел, что из дома вышли Султанье и Энвер. Султанье шла впереди, протирая кулачками глаза. За ней катил на своей тележке Энвер, отталкиваясь от земли двумя короткими палками. На этой тележке он мог ехать только прямо, так как управлять передним колесом, которое мы вначале хотели сделать рулевым, не мог. Теперь он в спешке махал палками и не замечал, что съехал с колеи, уже проложенной им самим, и сейчас застрянет в рыхлой земле. Я поспешил к нему навстречу.

— Чего не разбудили? — насупился Энвер, когда я вытащил тележку на колею.

— Мы только начали. Поехали. — Взяв брата за плечи, я покатил его к кирпичной площадке.

Мама, Иса, Султанье стояли вокруг кирпичей, только что рожденных на наших глазах. Султанье сидела на корточках, гладила их, как котят, ладонями. Мама и Иса молча смотрели на нее. Погладив один, Султанье на



корточках передвигалась к другому, потом к третьему. Оказавшись около четвертого, она вдруг подобрала с земли палочку, взяла ее в руки, посмотрела на всех нас поочередно, снизу вверх, потом вернулась к первому кирпичу. Мы молча наблюдали, не зная, что она надумала.

Султание опустилась на корточки у первого кирпича и осторожно, не сильно нажимая, вывела на нем палочкой: «Мама». На четырех других кирпичах она написала: «Селямет», «Энвер», «Иса», «Султание». Мы смотрели на нее, молчали.

Глядя на три оставшихся кирпича, Султание какое-то время размышляла, потом на каждом из них написала по букве: «Д», «О», «М». Получилось «ДОМ».

— Позабавились — и хватит, — первым опомнился Иса. — Работать надо. Коли начнем так сюсюкать над каждым кирпичом, дом свой увидим, когда правнуки состарятся. За дело, Селямет! — кивнул он мне. Отошел на несколько шагов, обернулся к матери: — А вы идите, завтрак готовьте, что-то вот здесь грохочет, ноет и воет, — хлопнул по смуглому упругому животу.

— И зрителей заберите, — в тон ему добавил я, — чтоб не мешали.

Мама молча повиновалась. Это было внове, чтобы не она командовала нами, а сама послушно выполняла наши указания. Одной рукой мама толкала тележку Энвера, а другой обнимала Султание за плечи. Мы с двух сторон подступили к глиняной горке...

Обсыпая форму песком. Отваливаем глину, катаем по земле, затем шле-оп в ячейку. Еще раз, еще, еще! Взялись за ручки, подняли форму, прижимаем к животу — пош-ли-и. Пять, семь, десять, пятнадцать, двадцать шагов. Опускаем форму на площадку, отмериваем взглядом пространство между нею и готовыми кирпичами — чуть не рассчитаешь, отрубишь край готовых, — переворачиваем, осторожно поднимаем. Есть кирпичики. Новенькие, будто только что с завода.

Обратно к горке. Форму в песок. Ком размером с голову жеребенка. Шлеп в ячейку. Еще раз, еще, еще. Поше-ел.

— Как дела, ага?

Я показываю большой палец:

— Мирово! Сумеешь обогнать меня?

— Запросто.

— Что ж, посмотрим.

Горка. Песок. Глина. Шлеп в ячейку. Еще раз, еще, еще!

— Дети, идите завтракать.

Я останавливаюсь. Мама стоит возле очага, машет нам рукой. Я перевожу взгляд на площадку. На ней уже лежит ровный ряд готовых кирпичей. Мой ряд. Я веду новый. Иса вот-вот закончит свой. Стараются вовсю.

— Слышь, мама зовет. Пойдем перекусим?

— Не глухой небось,— рычит Иса.— Я не смогу жрать, пока не догоню тебя.

— Долгонько придется тебе голодать. Я ведь тоже не буду сидеть сложа руки, пока ты будешь догонять.

Горка. Песок. Голова жеребенка. Шлеп, шлеп, шлеп...

— Эй, ребята, завтрак стынет, заканчивайте!

— Сейчас, мама, сейчас. Еще пять минуточек!

— Нет, десять! — орет Иса.— Если хочет, пусть брат идет. А я не остановлюсь, пока не догоню его.

— Догонишь, как же, держи карман!

— Догоню! — скрежещет зубами Иса-богатырь.

Горка. Песок. Жеребенок. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Бегом марш. Вот так. Догоняй, братец.

В одной руке пиалы, в другой чайник — появилась Султанье.

— Вай, кто это столько кирпичей сделал? — искренне удивилась она.

— Имам<sup>1</sup> из соседней мечети,— ухмыльнулся Иса.

Султанье постояла, переваривая ответ брата,— хлоп, хлоп длинными ресницами, взгляд на меня, на Ису: «Какой такой имам из мечети, которая вот уже сто лет под замком? Ну уж этот Иса, ясно же, что сами сделали, я ведь видела, и чего ерунду говорит?»

Султанье поставила чайник и пиалы на ящик из-под мыла.

— Мама картошку пожарила. Сейчас принесет. А вы пока пейте чай.

— Давай, сестрица, давай,— хохотнул Иса, с маху шлепая глиной по ячейкам,— брызги летят.

---

<sup>1</sup> И м а м — настоятель мечети.

— Пошли, Иса, глотнем по пиале зеленого чая.

У меня давно пересохло в горле, слюна во рту горькая, густая, клейкая. Наверное, и у Исы там не конфеты таяли, но он гнет свое:

— Ты давай, давай! Я еще малость побегаю.

Что ж, вольному воля. Я наполнил форму (как говорят, чтоб «не остыла»), отставил в сторону, пошел к «столу». Пока я попиваю чаек, он, конечно, догонит меня, но это уже нечестно. Так не соревнуются...

Я сел на теплую, пригретую солнцем землю, с наслаждением вытянул ноги, налил в пиалу янтарного цвета чай. Споро работает Иса, ничего не скажешь. Вообще он парень способный. И силенок ему не занимать. Ростом на полголовы ниже меня, весом кило на пять полегче, но зато шире в плечах, какой-то рубленый весь, устойчивый, таких нелегко бывает свалить в борьбе. Когда мы с ним боремся, в пяти случаях из десяти Иса кладет меня на лопатки. Скоро, наверное, он сравняется со мной и в росте, и в весе, а то и обгонит. Такой он, Иса, скорый. А уж упрям, как тысяча ослов! Я сделал на каких-то двести — двести пятьдесят кирпичей больше, но этот пельван<sup>1</sup> не успокоится, пока не наформует столько же, сколько и я.

— Эй, иди чай пить! День длинный, сто раз еще догонишь.

— Ты пей, ага, пей. Я сейчас, через пять минут.

В этот момент позади меня кто-то кашлянул осторожно и сказал:

— Хорманглár! Не уставать вам!

Оглянувшись, я увидел старика с длинной белой бородой, в чалме из поясного цветастого платка поверх новенькой тюбетейки. На плече у него скатанный старенький чапан.

— Проходите, Аман-бобо, проходите! — поднялся я ему навстречу.

— Не уставать вам, мои дети, — повторил старик.

— Спасибо, дедушка. — Я пожал твердую от мозолей широкую руку старика. — Садитесь, бобо, выпейте пиалку чая.

---

<sup>1</sup> П е л ь в а н — богатырь, силач.

Старик степенно покивал головой, жестом приглашая меня тоже сесть, снял с плеча чапан.

— Подождите, подождите, я сейчас принесу миндер,— сказал я, но Аман-бобо, не слушая меня, постелил чапан изнанкой на землю, снял кавуши<sup>1</sup> и сел, подобрав под себя ноги.

Я налил чаю четверть пиалы (наливая неполную пиалу, вы показываете, что вам в удовольствие долгое чаепитие с гостем), протянул старику. Меня в самом деле обрадовал приход Амана-бобо. Это был один из тех аксакалов нашей махалли, без чьего одобрения не затеваются свадьбы, не даются имена новорожденным, не ставятся заборы, не прокладываются арыки, словом, не обходится ни одно мало-мальски заметное событие. А то, что мы затеяли, было событием. И как-то так получилось, что мы не ходили за маслахатом, то есть за советом, ни к Аману-бобо, ни к кому-либо другому. И это меня несколько беспокоило, я боялся, как бы не обиделись старики. И вот бобо сам пришел. И обиды вроде не выказывает. Что ж, этому следовало только радоваться.

Старик сделал небольшой глоток, повернулся к Исе:

— Исо-полвон, идите малость передохните, сынок!

— Сейчас, отец, сейчас,— охотно отозвался брат, как ни в чем не бывало продолжая работать.

Сколько раз говорилось ему, что, коли к тебе человек пришел, бросай все свои дела, встретить его как полагается.

— Иса-богатырь не остановится, пока не выполнит свою норму,— сказал я, шуткой пытаюсь сгладить неловкость.

Старик с улыбкой кивнул, отпил еще глоток чаю.

— Пусть работает,— сказал он.— У Исоджана кровь каленым маслом кипит, а работа поможет ему немножко простыть.— Помолчав с минуту, чтобы опорожнить пиалу и вернуть ее мне, он продолжал: — Большое дело вы затеяли, сынок. Сейчас весь кишлак только об этом и говорит. Люди, верно, разное толкуют. Но мы, аксакалы, поговорили меж собой и решили, что должны вам помочь. А остальные пусть думают что хотят. Это их дело.

Аман-бобо принял из моих рук пиалу, подержал ее между ладоней, потом осторожно поставил на ящик.

---

<sup>1</sup> К а в у ш и — галоши с низким задником.

— Ты мужчина в доме, Саломат. Значит, ты и есть глава семьи. Потому мы и надумали прежде всего поговорить с тобой, кое-что посоветовать.

— Спасибо, отец. Я даже не знаю, как вас благодарить...

— Не надо. Благодарить будешь потом, когда будет за что. А сейчас слушай меня внимательно. Как мы узнали, вы решили формовать кирпичи.— Дед посмотрел на Ису, который все еще мельтешил на площадке.— Кирпичи и для дома, и для забора, которым огородите двор.

Я молча кивнул.

— Конечно, чтобы опустить двор до арыка, немало земли придется вынуть. А чтоб пустить ее всю на кирпичики — ох и придется попотеть! Ведь формовать кирпичи — работа очень трудоемкая. Ваш труд может растянуться на долгие годы. Тем более что работать придется вам двоим — больше некому.

— Вы думаете? — вскинулся я. У меня так и упало, покатилося сердце.

— А ты посмотри, сколько у него глины уходит на один кирпич,— выставил дед бороду в сторону Исы.— В один ряд стены кладется по два кирпича, торцом к торцу. Аккуратная стена получается, красивая, да жидкая. Мало глины съедает. Закончив стройку, будете нажимать машины, вывозить остатки земли?

Я молча уставился на деда Амана. Энвер, конечно, у нас голова, инженер, техник, архитектор, все расчерчивает на миллиметровках, красиво так на бумаге, одно загляденье. Да вот, оказывается, не все-то он и учел. Начинаешь таскать из ямы глину, совсем другие расчеты появляются, да.

— Мы знаем, бобо, что легко нам не будет. Да что поделаешь? Кто старается, говорят, всего достигнет. Для нас сейчас главное — дом...

— Это понятно, что дом. Но вам ведь нужен дом не на пустом месте, не на такыре, а в саду, разве не так? Иначе и дело затевать не стоило...

— Верно,— опустил я голову в знак согласия.

— Мы всегда строили свои дома из гуваляков.— Дед допил чай и вернул мне пиалу. Я тут же налил ему еще.— Теперь иные строят из кирпича, а оборотистые люди, вроде Шермата-спекулянта, даже из жженого. Ког-

да из кирпича, говорят, на стены совсем не расходуется лес. Не знаю, может, и правда. А если правда, то хорошо: ты ведь знаешь, как нынче трудно с лесом. Значит, вы сделали правильно, решив формовать кирпичи. Но что касается дувала, а без него у нас тут, в кишлаке, обойтись пока трудно, мы имеем небольшое предложение...

Аман-бобо вынул из кармана белых бязевых штанов тыквенную табакерку, кинул под язык изрядную порцию насвай<sup>1</sup>.

— Быфают у нас туфалы ис гуфальякоф и факса-туфалы.— Деду приходилось прижимать языком насвай, поэтому он смешно зашепелявил.— Факсу телают из твелдой глины с основанием около метла. Такой туфал тлудно плобыть дазе пуской.

Моего знания узбекского языка явно не доставало, чтобы понять все безбожно искаженные слова бобо, но я уловил главное: старики рекомендуют нам воздвигать вокруг усадьбы пахсú-дувал. Я не раз видел, как это делается.

Он лепится на манер ласточкиного гнезда. Глина, подаваемая из ямы на специальной лопаточке с длинной ручкой, кладется комками ряд за рядом и смачивается водой. Состоит забор из четырех-пяти поясов. Каждый пояс около пятидесяти — шестидесяти сантиметров высотой. Вверх они идут, постепенно сужаясь. Каждый следующий пояс кладется по мере высыхания предыдущего. И правда, глину жрут эти дувалы — дай бог. Совет стариков хороший, да вряд ли такое дело по плечу нам, двум желторотым птенцам. К тому же какие мы с Исой мастера! Наша пахса тут же развалится.

Аман-ата<sup>2</sup> правильно понял мое молчание, но, наверное, наполовину, потому что сократил высоту предполагаемого забора только наполовину.

— А можно и так стелать: постафить два или тлы ляда пахсы, а дальсе токончить гуфальяками. Отин холосый гуфальяк белет клину тлех тфоих килпичей.

Наш богатырь, видимо, догнал меня: гордо расправил плечи и затопал к нам. Я взглядом указал ему, чтобы накинул на себя что-нибудь, не сверкал перед стариком

---

<sup>1</sup> Н а с в а й — особым образом приготовленный табак, закладываемый под язык.

<sup>2</sup> А т á — отец, почтительное обращение к пожилому мужчине.

голым пупом. Да разве такой поймет язык знаков, когда и слова-то не всегда воспринимает!

Дед перехватил мой взгляд, засмеялся. Выплюнул насвай в сторону и заговорил уже без помех:

— Не беспокойся, сынок. Ису вашего я хорошо изучил: иногда он бывает мусульманином на сто пять процентов, иногда — кяфиром<sup>1</sup> на столько же. И пусть, раз у него характер такой. И потом, у каждого своя одежда. Мы, старики, например, зимою и летом носим чапан — он и от холода спасает, и от жары. Летом пропотеешь разок и ходишь потом в прохладе.

Аман-бобо привстал, здороваясь с Исой, протянул ему свою пиалу с чаем.

— Садитесь, богатырь, пейте. Не чай получился, а услада души.

Иса плюхнулся на землю коленями, взял пиалу, кивнул старику, улыбаясь, — одобряю, мол, ваш приход, говорите дальше, мне одно удовольствие внимать вам, — и одним махом выдул поостывший чай.

— Хош, Саломат, скажи, что ты думаешь, — подбодрил меня ата.

Иса перевел взгляд на меня. О чем, дескать, ты должен думать, брат?

Я неловко заерзал на месте, кивнул на Ису:

— Без них я ничего не могу решить. А если говорить всерьез, то, боюсь, это нам будет не под силу.

— Конечно, конечно, о том и речь! — замахал руками Аман-ата. — Такое дело с бухты-барахты не делается. Вы посоветуйтесь, помозгуйте всем семейством.

— Советоваться можно сколько угодно, но я говорю...

— Я знаю, о чем ты, сынок, — перебил меня Аман-бобо. — Но я еще не сказал о главном: над дувалом не вам двоим придется горбиться. Ты слышал когда-нибудь такое слово — «хашар»?

— Слышал, — кивнул я. — И даже участвовал в хашаре, когда всей махаллей помогали Турсуну-ака убирать кукурузу.

— У нас тоже есть хашар, — доложил Иса, наполняя свою пиалу до краев. — «Талака́» называется.

— Конечно, должен быть, — согласился дедушка

---

<sup>1</sup> К я ф и р — иноверец.

Аман. — Народы наши — как два родных брата. Языки родственные, обычаи, нравы тоже. Но дело не в этом. Какой бы национальности ни были, люди должны помогать друг другу. Потому мы и решили, что дувал ваш построит махалля. Четыре-пять хашаров, и...

— Ну что вы! — чуть не вскочил я с места. — Четыре или пять хашаров! Это сейчас-то, когда у каждого своих забот по горло? Нет, мы не можем людей так обременять!

— Не вы, а мы, — перебил меня дед. — И не перечь мне, Саломат. Я знаю, что говорю.

— Мне кажется, я догадываюсь, почему брат упирается, — вмешался в разговор Иса. Он уже понял, о чем идет речь. — Брат боится оказаться должником перед людьми. В самом деле, как мы вернем махалле этот долг, ведь не шутка такой дувал поднять!

— Ладно, об этом потом. Подите, Исо-полвон, кликните сюда матушку. Я вижу, без зрелого ума нам тут не обойтись.

— Ну, мама скажет то же самое, — пробормотал Иса, направляясь к дому.

Вскоре он вернулся. В одной руке он нес блюдо, на котором лежало несколько горячих лепешек, в другой — сковородку с жареной картошкой, посыпанной сверху мелко нарезанным зеленым луком, укропом и петрушкой. За Исой шествовала Султанье, едва удерживая обеими руками большой красный чайник.

Иса поставил сковороду и лепешки на ящик, обернулся к Аману-бобо.

— Мама побежала к Шокасыму-ака. Сын его приезжал на велосипеде, позвал.

— Это который Шокасым? — нахмурил лоб старик.

— Да Белоштанный Шокасым с Каттакочы...

— А-а, — улыбнулся дед, — слышал, слышал, жена у него опять двухэтажная. Подоспело время, значит, тринадцатого рожать... Ничего, пусть размножаются на здоровье. Дом с детьми — базар, без детей — мазар<sup>1</sup>. — Бобо обернулся ко мне: — Видишь, сынок, едва кликнули ее, ваша матушка бросила все дела и побежала к больному. А ты говоришь о долге. Живы будете, сочитесь. Главное,

---

<sup>1</sup> М а з а р — могила, кладбище.



не быть в стороне от забот и тревог своих односельчан. О хашаре мы еще поговорим. Хоп, я пойду...

— Ия!<sup>1</sup> Куда это вы пойдете? — схватил Иса за рукав старика. — Никуда вы не пойдете. Покушайте с нами. А то обидимся.

Я тоже попросил старика позавтракать с нами.

— Стариковское дело известное, — сказал Аман-ата, усаживаясь обратно на чапан. — Рано встаешь, рано завтракаешь, да что это за завтрак: с птичьего языка куснешь — и сыт на весь день. Но я посижу с вами. А вы ешьте.

Аман-бобо отколупнул кусочек лепешки, поддел им кружочек картошки, отправил в рот. Подобрал упавшую крошку, трижды поцеловал ее, поднес ко лбу.

— На свете существуют три святыни — аллах, хлеб и мать. Вы, молодые, бога не слишком жалуете, но любовь и почтение к нему должны перенести на две другие святыни. Не будь хлеба и матери, не было бы жизни на земле и человек человеком бы не стал. Сказать по правде, я и сам не очень-то верующий. Но с аллахом не так-то, видно, легко расстаться. — Он тронул грудь. — Умом говоришь: нет его, бога, — а в душе, где-то в самом дальнем ее уголке, шевелится: а вдруг? Примером тому вот ваш двор. Вы знаете, почему до нас никто его из местных не занял? Да все потому, что вакуфный!

Мы с Исой переглянулись. Историю двора мы не знали, но чувствовали, тут что-то есть: свободной земли в кишлаке нет, на учете каждая пядь, дома лепятся один к другому, а здесь целый двор, притом обширнейший, без хозяина. Нельзя объяснить это только тем, что трудно подвести воду: ведь стоило приложить руки, как мы теперь, и пожалуйста — вода. Дело, значит, в другом. А в чем, мы не знали. Въезжая в кибитку по разрешению Байматова, обживая ее, мы постоянно боялись, что вот-вот кто-нибудь заявится и скажет: «Чего это вы тут расположились? А ну-ка вытряхивайтесь!» Но никто к нам не появился. Тем не менее беспокойство не покидало нас. Может, теперь Аман-бобо скажет что-нибудь успокаивающее?..

— Мы до сих пор удивляемся этому, — сказал я.

---

<sup>1</sup> Ия — возглас удивления.

— Э, история вашего дома длинная и печальная,— сказал ата со вздохом. Затем устроился поудобнее, попросил: — Налей-ка мне горяченького чая, Саломат. Да-а,— опять вздохнул он.— Некогда, в дни моей юности, при мечети существовало медресе. Его здание как раз рядом с вашей кибиткой стояло. Я и сам учился в том медресе. Ученым не стал, но читать-писать научился. По тем временам это тоже было большим благом. Дети бедняков здесь долго не задерживались. Я тоже бросил учебу года через три. Пошел чайрикёром<sup>1</sup> к баю Хамидхану. А дети толстосумов уезжали учиться в лучшие медресе Бухары, Коканда или Маргелана. Наше каттаюльское медресе пришло в упадок. А вскоре случился пожар, сгорело и здание его. Осталась только ваша мазанка — она служила подсобным помещением. На этой земле,— указал дед руками на нашу площадку для кирпичей,— рос миндаль, неплохой доход приносил мечети. Потом на него напала какая-то болезнь, деревья засохли, пошли на дрова. Вскоре появились басмачи. Настали страшные времена...

Аман-бобо достал из кармана табакерку, повертел ее в руке, задумчиво разглядывая, потом почему-то засунул обратно.

— Убийства, изнасилования, грабеж... Такие жестокости были — язык не поворачивается описать. В нашей местности свирепствовал Мелй-курбашй, близкий родственник известного Мадаминбека. Вот в эту-то пору и поселился в вашей мазанке каландар<sup>2</sup> Ахузайни. Кто он такой, откуда — никто не знал. Просто распространились по округе слухи один нелепее другого. Ахузайни, дескать, не простой отшельник, а святой, отмеченный божьей милостью, наделен чудесной силой. Дотронется рукой до лба калеки — у безногого вырастает нога, слепой прозревает, горбатый становится стройным, как тополь. Неугодных аллаху он может одним дуновением переместить в бесплодную пустыню, истым мусульманам обеспечит место в раю. Кто не хочет прогневить всевышнего, должен ежедневно носить ему по две лепешки за каждого члена семьи, одного барашка в год и десять рублей

---

<sup>1</sup>Ч а й р и к ё р — издольщик, работавший на чужой земле чужими орудиями и получавший часть урожая.

<sup>2</sup>К а л а н д а р — дёрвиш, отшельник.

серебром. Не знаю, верили люди в чудодейственную силу Ахузайни или нет, но приношения текли к каландару широкой рекой. А кто не носил, у того в доме или пожар возникал, или корова, единственная кормилица, околежала, а то исчезал сын или дочь или отца убивали неизвестные нечестивцы. Народ боялся, нес Ахузайни все, что тот назначал. Куда девал он столько добра, никто не знал. И будто мало ему этого, каландар целыми днями шнырял по району, попрошайничал на станции. Однажды в кишлаке появились красноармейцы, арестовали Ахузайни и муллу. Их золото и серебро увезли на двух арбах.

Аман-бобо снял с головы повязанный чалмой платок, вытер им шею, лоб, почему-то покрасневшие вдруг глаза. Я подал ему чаю.

Дед сделал такой жадный глоток, словно его целую неделю мучила нестерпимая жажда.

— Сразу надо было схватить мошенников! — рубанул рукой Иса.

— Если бы только мошенники! — с горечью воскликнул ата. — Этот каландар был, оказывается, соглядатаем Мадаминбека. Собирал для него провизию, деньги, золото, а главное — сведения о движении поездов, о поставках оружия в Маргелан, Фергану, Андижан, о численности красных отрядов. Помогали ему несколько железнодорожников и связистов с телеграфа. И провизию и сведения Ахузайни передавал Мадаминбеку через Мели-курбаши.

— Вот видите! — воскликнул Иса опять.

Я сделал ему знак помолчать. Аман-бобо, однако, будто и не слышал его.

— На другой день утром, как забрали каландара и муллу, у дверей вашей хижины нашли убитого. Это был молодой красивый джигит. Палачи отрезали ему уши, выкололи глаза и вложили в руки. Мол, тебе следовало вот так слух и зрение в кулаке держать. На груди выжгли пятиконечную звезду, в рот и нос влили каленого масла. В страшных муках умер бедняга...

Дед опять вздохнул, вытер платком глаза, из которых одна за другой медленно выползали крупные капли слез.

— А было джигиту всего-навсего двадцать лет. Ударом кулака быка с ног валил, три барашка мог на плечах донести до базара. Это он выследил каландара и его

приспешников, разворошил осиное гнездо. А бандиты как-то пронюхали о том, отомстили по-своему. Да разве помогли им жестокости! Вскоре мы — я тогда с красноармейцами был — в пух и прах разбили басмачей, с корнем вырвали из родной земли злодейский сорняк. Да, но память осталась, жуткая память...

Аман-бобо некоторое время молчал, пил мелкими глотками чай, сосредоточенно глядя в землю. Молчали и мы. Перед нашими глазами стоял богатырь-джигит, изуверски убитый басмачами у порога дома, в котором мы жили. Как-то жутко было нам. Такое чувство появилось, словно мы неожиданно коснулись тех далеких страшных событий, которые происходили на этом пятачке земли.

— С тех пор двор этот пустовал, как проклятое место. Люди не то что занять его, обстроить, обжить, но даже, проезжая мимо, глядеть на него не хотели, отворачивались... Да я сам!.. — вскричал вдруг дед, сжимая кулаки. — Да я сам не из слабонервных — всякое повидал! — не раз останавливал себя: хотелось схватить кетмень, крушить, ломать эти стены, изрубить в щепки... «Эй, человек, погоди, — говорил я сам себе. — В чем же виноваты эти стены, эта бедная, иссохшая без заботливого хозяина земля? Ей бы цвести, плодоносить, а она, как сиротка, глотка воды не видит, ласкового прикосновения человеческой руки не знает. Если тебе хочется схватить кетмень, хватай, но не для того, чтобы ломать да крушить, а чтобы взрыхлить почву, дать ей воды...» Умом все это понимал, да, но перебороть себя, помочь этой земле не мог...

Старик какое-то время смотрел куда-то невидящим взглядом, потом усмехнулся:

— В душе я будто все на что-то надеялся. Может, на чудо. Авось кто-нибудь явится, поселится на этой земле, не побоится того страшного, что на ней происходило, позаботится о ней.

Аман-бобо допил чай, потом поставил пиалу на ящик, перевернув ее вверх дном.

— Вы, дети, знайте: я рассказал вам все это не для того, чтобы напугать вас, отвратить вас от этой земли. Наоборот. Человек должен знать историю края, где он живет, историю деревни, даже каждого ее камня и дерева. А земли этой не бояться — на колени перед ней встать

надобно. Святая она. На ней пролилась кровь бойца. Коли здесь вы взрастите сад, оживите задыхающуюся землю, постройте дом, в котором будут светиться яркие окна, а в очаге гореть огонь,— это будет памятник шахиду...<sup>1</sup>

— Скажите, дедушка, а вы не знали джигита, который помог изловить каландара? — спросил Иса.

Дед ответил не сразу. Он встал, стряхнул чапан, сложил его в длину, забросил на плечо.

— Почему же не знал, Исоджан. Еще как знал! Это ведь был мой младший брат. Родной брат, которого я немало таскал на плечах. Звали его Адылом, что значит «справедливый». Двое нас было у родителей, Адылджан поздно родился, но рано ушел из жизни. Оставил меня одного на белом свете...— Аман-бобо резко повернулся и зашагал прочь. Немного пройдя, остановился.— Поговори с матерью, Саломат. Как только решите, созовем людей на хашар. Поставим фундамент и поднимем первый пояс пахсы.

— Хорошо, отец,— тихо вымолвил я. Глаза мои застила пелена, в горле застрял шершавый ком.

— Ну, работайте, дети. И так я отнял у вас слишком много времени. Работайте...

Обернувшись к Исе, я увидел, что глаза у него красные.

— Пошли, что ли?

— Пошли,— буркнул Иса и отвернулся, как-то странно скривив рот.

Мне захотелось обнять его за худые, острые плечи, прижать к себе, но вовремя остановился: еще затрещину схлопочешь. Когда Иса в таком состоянии, к нему лучше не соваться.

## VI

Я выгреб совком золу из очага, отнес на грядки из-под лука. Вымыл казан, принялся колоть дрова. Трудновато работать на полный желудок, но, как говорится, пообедал — заботься об ужине. Иначе голодный останешься. Сегодня вечером мама обещала долму́ приготовить. Рань-

---

<sup>1</sup> Ш а х и д — жертва, безвинно погибший человек.

ше она не позволяла нам такую роскошь, но теперь, когда мы днями не вылезаем из грязи, старается (если, конечно, удастся) накормить нас получше. «Иначе сломаешься,— говорит она,— на что мне тогда дом?»

Едва я расколол полешек, прибежал Иса. Задышается, весь в поту.

— Ага, Селямет, быстро! Дай мне ведро, а еще лучше — два ведра!

— Ведро? — обернулся я к нему, отложив топор.— А то и два? Ишь ты! За тобой что, бешеные собаки гнались?

— Ведро, говорю тебе! — заорал Иса.— Быстро, время дорого!

— Да объясни ты, в чем дело?

— У-уф, какой ты все-таки зануда! Нефтяная труба лопнула. Там.— Иса махнул рукой за спину.— Целое озеро мазута натекло. Я побегу таскать, а ты вырой яму, да поживее.

Только теперь я заметил, что Иса прибежал из конца двора, значит, со стороны Узун<sup>1</sup>-хауза. Он находится у дороги, ведущей из Кабловской в Вуадиль. На обочине этой дороги зарыта труба, по которой из Вуадилля перекачивают мазут на Кабловский нефтеперерабатывающий завод.

— погоди, не трепыхайся.

В доме всего-то два ведра. В одном вода, другое худое. Дырку я забил тряпкой, вода в нем не держится, но для мазута сойдет. Но много ли натаскаешь одним ведром? Надо поискать у соседей.

У Абиды-хала, которая живет сразу за мечетью, нашлось два старых ведра и большой худой таз. Я забрал и его. Пригодится. Положу на дно ямы. Чтобы не утекал мазут.

Иса убежал. Взяв кетмень и лопату, я поспешно стал копать землю в углу двора, где чаще всего бывает тень. Надо успеть, пока обернется брат, иначе нагоняя не избежать. А вот и он!

— Готово? Давай выливай!

Я поставил на дно ямы таз, втоптал его хорошенько, обложил стенки рубероидом, который был заготовлен,

---

<sup>1</sup> Узун — длинный.

чтобы накрывать кирпичи в непогоду, опрокинул ведро с тягучей черной жидкостью.

— Отлично! — похвалил Иса не то яму, не то меня, а может быть, себя. — Найди еще ведро и приходи к Узун-хаузу. Там много натекло, натаскаем — на всю зиму хватит.

— Иди, я поищу. Захвати и это. — Я указал на третье ведро. — Наполни и оставь там. Я сейчас приду. В крайнем случае тремя будем таскать. Ничего.

Я вымыл руки, зашел в дом. Энвер спал, положив ладонь под щеку. Лицо потное, волосы слиплись. Я осторожно накрыл брата одеялом. Это у него от слабости. Чашку супа съест — и то ему тяжело. А ведь скоро саратан наступит — самая жаркая пора лета, — каково будет бедняге, представить не могу.

Я постоял, глядя на Энвера, вздохнул и пошел к соседям искать посуду. Обошел пять-шесть дворов — ничего. Может, ведро из-под воды пустить в дело? Потом почистим керосином. Нефть-то смывается, но вот запах... В чем тогда воду держать? Нет, нельзя это ведро трогать.

Я вернулся домой. Иса стоял у ямы, опорожнял ведро.

— Нашел?

Я покачал головой.

— Всех соседей обошел. Ни фига.

— Жалко. А я думал, две-три ямы наполним. Вот было бы здорово!

— Ничего, натаскаем тремя. Пошли.

В этот момент донесся голос Энвера:

— Ага, Селямет-ага!

Я вошел в дом. Брат сидел в постели.

— Иса пришел, да? Чего это вы там спорите?

— У Узун-хауза труба лопнула, — доложил Иса, сунувшись наполовину в дверь. — Мазут прямо на дорогу течет. Знаешь, как он горит, если пропитать им паклю и засунуть в печь? С паровозным гудением.

— А вы сообщили? — беспокойно шевельнулся на месте Энвер.

— Чего? — удивился Иса, входя в комнату. Обернувшись, посмотрел на меня.

Я пожал плечами.

— «Чего-чего»! — вскричал Энвер. — На завод, говорю, сообщили? Ведь говорите же, трубу прорвало!

Мы усталились с Исой друг на друга. Не то чтобы сообщить на завод об аварии — мы даже не подумали об этом!

— Много вы натаскаете мазута? Ну, двадцать ведер, тридцать, а за это время знаете сколько может вытечь из трубы? Целые тонны! Эх, вы-ы!..

— Чего ты на нас накинулся? Мы берем то, что натекло в яму... Все равно ведь пропадет!

Я махнул рукой, прося Ису помолчать.

— Энвер прав. Надо позвонить на завод. Ты бери ведра и иди. А я сбегая, позвоню из хлоппункта<sup>1</sup>, потом приду.

— Ладно, я понесся.

Я кинул незаметный взгляд на Энвера — он с деланным равнодушием отвернулся к стене — и вышел на улицу. Надо быстрее бежать на Поворот. Так мы называем пересечение двух дорог; там рядом с чайханой Меликузы и расположен хлоппункт. Вон сколько времени потеряли! Позор-то какой! А бегал, ведра искал, ямы рыл, как крот какой-нибудь, а подумать о главном и не догадался. Свою пользу сразу смекнул, сразу засуетился, а что заводу ущерб будет...

Сзади затренькал велосипедный звонок. Я отошел на обочину. На велосипеде ехал — если можно так сказать — сын нашего соседа Джамала-ака, Искандар. С седла до педалей он не доставал, потому просунул ногу промеж рамы, встал прямо на педали и прыгает, как ворон на пашне: прыг-скок — вперед, прыг-скок — вперед...

— Далеко? — соскочил Искандар на землю. — Если на Поворот, давайте вместе. Я тоже туда. За мясом послали. Только вы сами садитесь за руль. Я вас не смогу повезти.

— Нет, ты езжай, Искандар. Я не спешу.

Не скажешь же мальцу, что не умею ездить на велосипеде. Никто меня не учил, не на чем было учиться и некогда. Школа, семья, заботы, дом... Оправдание есть. Но в оправданиях ли дело? Жизнь-то оправданий не спрашивает. Вот сейчас нужно было бы вспрыгнуть на велосипед и помчаться к Повороту. А я: «Не надо, не спешу, ля-ля да ля-ля!» Мало ли что еще может случиться в жизни? Видать, домашние заботы само собой, но и во

---

<sup>1</sup> Х л о п п у н к т — хлопкозаготовительный пункт.



всем другом тоже надо стараться не отставать. Иначе будет плохо, ой, плохо...

Вот и дорога маргеланская. Чайхана. Еще немного — и хлоппункт. Там телефон. Оттуда я и позвоню. Мама мне всегда говорит: «Ты самый старший сын. Ты единственный мужчина в доме. Ты должен быть главой семьи, отцом своим младшим братьям». Вот тебе и мужчина, вот тебе и глава! Энвер доказал, что сопляк ты еще, а не мужчина, и умишко куций, дальше своего носа не видишь...

У хлопкового пункта стояли мужчины. Среди них и Мухтár-ака, заведующий пунктом. Говорят о чем-то, весело ржут. Как бы отозвать его в сторонку? Но опасно мешать. Шуганет еще. Может и по шее дать.

Подойдя к белому низкому домику конторы, я встал на цыпочки, заглянул в окно. В кабинете никого. На столе стоит черный телефон с ручкой на боку. Звонить мне самому еще не приходилось. Но я знаю: надо крутануть эту ручку, поднять трубку. Когда телефонистка ответит, сказать, кто тебе нужен: МТС ли, правление колхоза или водхоз. Мне нужен завод. Так и скажу: «Алё, дайте мне завод». Кто поднимет трубку, тому и скажу: так и так, мол, мазут прорвался, а там они сами найдут, кому доложить.

Я оглянулся на мужчин. Они заняты собой, меня не замечают.

Я юркнул в открытую дверь, прошел несколько шагов по коридору, шагнул в кабинет заведующего. Положив левую руку на аппарат, крутанул ручку. И в этот момент чьи-то железные пальцы впились в мое плечо: я чуть не вскрикнул от неожиданности и боли.

— Тебе чего тут?

Надо мной возвышался Мухтар-ака. Лицо свирепое, глаза красные, усы маслянистые, видно, совсем недавно плов ел. На меня дохнуло водочным перегаром.

— Думал, тебя никто не видит? Ну-ка отвечай, что хотел стибрить? — Он все еще говорил по-русски. Неужели не узнал меня?

— Я хотел позвонить... — начал я по-узбекски прерывающимся голосом. — Там мазут... труба...

Заведующий ослабил хватку, взгляделся мне в лицо:

— Постой... ты чей же будешь?

Я ответил.

— А-а, сын той самой дохтура-апа? — отпустил меня Мухтар-ака. — Чего же ты сразу не сказал? А я подумал, шпана какая. Мало ли кто тут шныряет! Так что ты хотел?

Я объяснил.

— Больше так не своевольничай. Подошел бы ко мне и сказал, что тебе надо. А то ведь и неприятности могли быть... — Заведующий снял трубку. — Алё, дайте мне завод. Какой у нас еще есть завод? Ну! Директора или парторга. Ах, красавица, да любого, не все ли равно, что ли!

Я направился было к двери, но Мухтар-ака жестом остановил меня. Поговорив по телефону, он подошел ко мне, положил руку на плечо, как раз на то самое место, которое еще ныло от его когтей.

— Это самое... как там твой братишка? Все лежит?

— Лежит, — опустил я голову. — Лежит, конечно, куда он денется? И всю жизнь, наверное, будет лежать...

— М-да... Ладно... — пробормотал Мухтар-ака.

Выйдя на вуадильскую дорогу, я со всех ног припустил к Узун-хаузу. Еще и от Исы попадет. Скажет, от работы отлыниваю.

Возле мазутного озерца Исы не было. Я решил, что он, наверно, побежал с полными ведрами домой. Но, подойдя поближе, заметил, что тут произошло неладное. На дороге, покрытой щебенкой, валялись два сплюснутых ведра. Мазут из них вытек и расплылся большими жирными змеями. Из земли, где должна лежать труба, пульсирующим ручьем бил мазут. Он уже заполнил впадину и подкрадывался к арыку.

— Иса-а! — закричал я, озираясь по сторонам. — Иса-а!

Никого. Все еще озираясь, я обошел мазутную лужу. На обочине в густой траве стояло ведро, полное черной жидкости. Третье ведро... С Исой что-то случилось. Что-то недоброе. Меня прошиб холодный пот.

— Иса-а! Иса!

Из кукурузника, прилегавшего к дороге, вынырнул мальчик:

— Саломат-ака, вы здесь? А я к вам домой бегал. Исо-ака велел.

— А где он сам? — вскричал я.

— Его здесь схватили двое пьяных. Сказали: «Ты шпион!» — и поволокли в сельсовет. А ведра ногами затоптали...

— Какие пьяные, кто?..

— Не знаю. Шли они себе, пели. А мы с Исой-ака ведра наполняли. Подошли, постояли, поглядели, а потом набросились на Ису-ака. Меня не тронули. Исо-ака и крикнул мне: «Беги, Турсун, скажи брату!» Я побежал к вам. Но вас дома не было...

К нам, все так же прыгая на педалях, как ворон на пашне, подъехал Искандар.

— Ия, Саломат-ака, вы шли на Поворот, а оказались здесь!

Но я прервал его:

— Искандар, братишка, возьми с собой Турсуна и дуй в медпункт. Найдите маму, Турсун объяснит ей, в чем дело.

Окна сельсовета были открыты настежь. Я тихонько заглянул внутрь. В углу стоял Иса: под глазом синяк, волосы растрепаны, весь измазан мазутом. Рядом, как бы отрезая ему путь к бегству, покачивался широкоплечий, обросший детина. Грязные, нечесанные волосы космами выбивались из-под кепки-восьмиклинки. На правой щеке сверху вниз тянулись три багровые полосы — следы ногтей. Молодец Иса, поработал на славу. Приятель детины сидел на стуле в простенке между двумя окнами. Я видел только его длинные ноги, обутые в рыжие брезентовые сапоги. Они были забрызганы чем-то, то ли мазутом, то ли кровью.

Иса приложил к носу окровавленный платок, исподлобья взглянул на гривастого. Значит, он и по носу получил.

— Я не понимаю, — слышался недовольный голос Байматова, председателя сельсовета. — Неужто вы всерьез подумали, что этот мальчонка мог специально продырявить трубу, чтобы набрать десяток-другой ведер мазута?

— Ма... мазута т-там натекло знаете сколько? С нас... настоящее озеро! И он там шу... шуровал! Это его работа!

— Послушай, Агаев, — приблизился Байматов, руки за спиной, к гривастому. — Вы серьезное дело затеяли,

братцы. И я ему дам ход. Пусть органы проверят: кто-то умышленно пробил трубу или она сама лопнула?

— Вот-вот! — торжествующе вскинул руку Агаев.

Ожили, задвигались и брезентовые сапоги. Иса громко шмыгнул носом.

— Ну, а коли не подтвердится ваше обвинение, вы понесете ответственность за клевету, за избиение несовершеннолетнего, сына погибшего фронтовика.

— Почему это мы? Это все он затеял, дурак, пусть он и отвечает! — Брезентовые сапоги резко убрались в сторону.

— Ты, вонючка! — гаркнул Агаев на дружка, который от него так быстро отвернулся. — Не ты ли звезданул сына фронтовика по шарам?

— Цыц! Вы еще потасовку устроите в государственном учреждении? Пять лет лишних получите!

— Но он мне руку прокусил... — плаксиво доложил хозяин брезентовых сапог.

— Нечего на нас статьи вешать, хозяин! — взвыл Агаев. — Мы честные советские люди! Это вы на его рожу поглядите: настоящий враг народа! Шпион и есть!

Не успел он договорить эти слова, как Иса оттолкнулся от стены, хрястнул головой в подбородок гривастого. Тот рухнул плашмя на пол, как подрубленный. Иса перепрыгнул через него, молнией пересек кабинет и, держа руки перед собой, торпедой врезался в дверь — створки разлетелись, и мой братик был таков. Пишите письма.

Байматов молчал, пораженный происшедшим, потом громко захохотал, запрокинув лицо. Агаев же медленно сел, раскинув ноги, потряс головой, потрогал шатающийся зуб.

Зазвонил телефон на столе. Все еще смеясь, Байматов поднял трубку:

— Я слушаю. А, это ты, Мухтарджан? Как у тебя там, хлоппункт на месте? У меня, говоришь? — Слушая, Байматов поглядывал на Агаева, который все еще сидел на полу и выплевывал кровавую слюну в подол рубахи, и опять засмеялся: — Да, два пьяных дурака. Брат, говоришь? Ах, какой молодец, а! Уже приехали аварийщики? Оперативно, оперативно! Мать едет? Очень хорошо, очень кстати. — Байматов захохотал еще громче. — Нет, я их не выпущу. Пусть едет, глаза их бесстыжие выцарапает! Будут знать, как последний ум пропивать. Я их

хотел в органы сдать, но прежде пусть получают, что заслужили, от матери парня. Хотя, впрочем, и сам мальчонка хорошенько отделал одного из них...

Если мама сюда едет — нечего тут маячить. Сгоряча и мне может влететь. Надо смываться.

Прихожу домой и вижу: работа в самом разгаре. Две ямы уже наполнены мазутом. И таскает его не один Иса, а человек десять ребятишек. Десятью ведрами. Искандар с Турсуном тоже здесь. Мальчишками командует высокий худощавый человек в белой панамке. Заметив меня, он приветственно вскинул руку:

— А вот, кажется, и главный герой! — Он обнял меня за плечи. — Молодец, что вовремя предупредил. А то мы уже беспокоиться было начали: отчего вдруг давление упало? Ты, кажется, удивлен: кто, мол, этот человек, чего он тут орудует? Давай знакомиться. — Незнакомец взял мою руку, крепко пожал. — Я главный инженер завода. Страдовский Эрик Семенович. Нужен буду, рад всегда помочь. А ты Таймазов Селямет, так? У тебя двое братьев, сестра, мать. Не удивляйся, я все знаю. — Страдовский кивнул на ребят, сгрудившихся вокруг. — И знаю, что произошло там, на дороге. Не расстраивайся, брат. Байматов проучит тех болванов, поверь мне.

— Да нет... я... просто вы...

Страдовский повернул меня за плечи и слегка подтолкнул:

— К мазутному озеру — шагом марш! Такое богатство под носом — грех не воспользоваться. Ну, гвардейцы, вперед!

Мы шумной гурьбой двинули к вуадильской дороге.

Когда вернулись с полными ведрами, во дворе нашем ходили какие-то люди. Я их еще издали заметил. Они обошли дом, заглянули в мазутные ямы, направились к площадке, где сушились кирпичи. На улице напротив нашего дома стоял запыленный «виллис» с открытым верхом.

Увидев нас, люди остановились. Среди них я узнал председателя колхоза Молдокмáтова. Двое были в соломенных шляпах.

Мама что-то оживленно рассказывала гостям. Я думал, уж задаст она нам с Исой головомойку, но нет, она вроде была настроена вполне благодушно.

Гости вначале пожали руку Эрику Семеновичу, а когда мы, ребята, чинно подошли к ним, поздоровались и с нами за руку. Во какой почет!

— Товарищ Аскарлов, а вас какими ветрами сюда занесло? — засмеялся Страдовский. — Неужто дошла весть об этой трубе?

Ах, вон он какой, этот Аскарлов, председатель райисполкома! В самом деле, чего он заявился собственной персоной?

— Нет, Эрик Семенович, у нас свои дела. Я только конец мазутной истории видел. В сельсовете, когда Айша-апа, — Аскарлов указал на маму, — задавала трепку тем пьяницам. Мы их отправили в милицию, а сами поехали сюда. Айша-апа ссуду у нас просит, дом строить, мы и решили посмотреть своими глазами, как они живут.

— Ремонтники трубу заделали, — доложил главный инженер. — Ее просто ржа съела. Ведь линия еще в начале века прокладывалась, при царе Николашке. А я, как видите, организовал тимуровцев, чтобы натаскать утекший мазут. Он может арык загрязнить — тогда нижние кишлаки надолго без воды останутся. А кроме того, чего зря добру пропадать?

— Правильно сделали. Семьям погибших фронтовиков надо помогать, — сказал Аскарлов одобрительно, но почему-то глядя не на Страдовского, а на председателя колхоза.

— Мы и помогаем, Сайд-ака, — Молдокматов понял, что эти слова относятся к нему. — В прошлом году Таймазовым выделили две арбы гузапай<sup>1</sup>, кубометр дров, тонну угля...

— Грех жаловаться, товарищ Аскарлов, колхоз нам очень помогает... — добавила мама.

— Хорошо, — кивнул предрайисполкома. — Вы пишите, что у вас больной ребенок. Девочка или мальчик?

— Сын, Энвер зовут. От рождения болен. Ноги не ходят.

— Жалко малыша, — покачал головой Аскарлов. — Энвер... Энвер Таймазов. Погодите, это не тот ли селькор Э. Таймазов, который критиковал нас за волокиту со строительством хлебопекарни?

---

<sup>1</sup> Гузапай — кусты засохшего хлопчатника.

Мама помялась, потом кивнула утвердительно:

— Он. Пописывает сын маленько. И о хлебопекарне он писал...

— И правильно сделал, что написал. Нечего было волынить с пекарней.— Аскарлов шутливо ткнул указательным пальцем в живот председателя колхоза.— А ты, Молдокматов, оказывается, в своем хозяйстве, кроме хлопчатника, и журналистов выращиваешь, а?

— У нас и профессора вырастут, и народные артисты. Вот увидите,— засмеялся Молдокматов.

— Добро. А я думал, взрослый человек написал ту заметку. А это, говорите, пацаненок? Способный, значит, парень. Как у него с учебой?

— Заочно учится. Брат помогает.

— Прекрасно. Прекрасные у вас дети, Айша-апа. Вам можно позавидовать.

— Шукюр<sup>1</sup>, я довольна своими детьми.

— А почему он в районную газету не пишет? Я скажу редактору, пусть привлекает мальчишку. Их редакция остро нуждается в пишущих людях. А вашему сыну будет практика, да и подзаработает немного.

— Спасибо.

— Что касается ссуды, деньги мы вам дадим. Но... материалов не обещаю. Сами знаете, как у нас насчет этого... Транспорт, когда будет нужда, думаю, обеспечит колхоз. Верно я говорю, товарищ Молдокматов?

— Поможем,— вздохнул председатель.

— А об участке пусть скажет свое мнение товарищ Булгаклы. Осман-ака большой знаток земли.

— Я его знаю,— посмотрела мама на усатого спутника Аскарова.

Тот снял свою соломенную шляпу, обнажив круглую и гладкую, как очищенное яйцо, голову.

— Вот вы сказали, Айше, что хотите вынуть как можно больше земли, чтобы опустить двор до уровня арыка. Мысль хорошая. Но есть одна опасность. Если вы уничтожите верхний, плодоносный слой почвы, то на этом участке вы не снимите никакого урожая и через десять лет.

— Это почему же? — вскинулась мама.

---

<sup>1</sup> Ш у к ю р — слава богу.

Молдокматов кивал головой, соглашаясь с агрономом.

— Земля тут на глубине двух-трех метров, — потоптал ногой Булгаклы, — мертвая. Пока она насытится солнцем, обогатится естественными удобрениями — пройдут годы.

— Выходит, напрасны наши старания? — горестно всплеснула мама руками. — Мы хотим создать здесь сад, а его-то как раз и не будет?

— Нет, почему же, — мягко улыбнулся Булгаклы. — Просто вам надо приберечь верхний слой почвы, не пускать его на кирпичи и дувал. Я понимаю, это дополнительный труд, но иначе нельзя...

— Что нужно будет делать? — неожиданно выступил вперед Иса.

Никто на него не цыкнул, не одернул, что вмешался в разговор старших.

— Прежде чем брать землю для строительных нужд, будете откатывать в сторону верхний слой. Потом вернете его на место.

— Понятно.

Иса глянул на меня. Я сразу понял, о чем он подумал. Наверное, о том же, что и я: придется раскурочить Энверкину тележку, вынуть колеса.

— Когда станете сажать деревья, Айше, приходите ко мне. Я вам дам саженцев. У меня много всяких яблонь, гранатов, хурмы, винограда, персиков, миндаля...

— Спасибо, Осман-ага. Я, конечно, частенько буду беспокоить вас. Спасибо за совет. Мы-то вон ковырялись в земле, да не подозревали, что можем загубить ее.

— Не бойтесь, — сказал Аскарров. — Понятно, трудности всякие будут, но, как говорится, кто трудится, тот горы сворачивает. Главное, не бояться трудностей. Помните, что живете среди людей. А люди всегда помогут. Кто советом, кто делом. Не стесняйтесь, обращайтесь и к нам. Сделаем все, что сможем...

Аскарров направился к машине. Тронулись и его спутники. Мама попыталась было уговорить гостей остаться, отведать долмы, которую она сейчас приготовит, но они поблагодарили, сказали, что на угощение приедут, когда наш дом будет готов, сели в «виллис» и укатили. Мама обняла нас с Исой за плечи, повела в дом. Над кишлаком спускались сумерки. И хорошо, что гости не остались на угощение. Болгарский перец, который мама нафарширо-



вала, оказался горьким. Долму нельзя было даже в рот взять. В тот вечер мы поужинали одним хлебом и рано легли спать.

## VII

Настала осень. То и дело набегали дожди, дули ветры. Деревья нехотя одевались в золото. Над кишлаком с громкими криками носились вороны. Белое раскаленное солнце помягчело, пожелтело, как подтаявшее сливочное масло, но жара по-прежнему давала себя знать. Улицы кишлака обезлюдели. Базары и чайханы закрылись — начиналась хлопковая страда. Машины, что шли в Коканд или Фергану, делали крюк, объезжали Каттаюль — дорога использовалась колхозами района для просушки хлопка. Школы еще работали, но никто толком не занимался своим делом — ни ученики, ни учителя. Все знали, что со дня на день школьный люд поедет на хлопок. Так оно и случилось: восемнадцатого сентября объявили, что с двадцатого, то есть с понедельника, учащиеся пятых-шестых классов будут ходить в близлежащие поля своих колхозов, ученики седьмых, восьмых, девярых и десятых классов, как народ вполне самостоятельный, выезжают на дальние участки, с ночевкой на месте. С собой взять по фартуку для сборки хлопка, постель, теплую одежду, сапоги, кружку, миску и ложку. Пищей будет обеспечивать колхоз.

В субботу уроки кончились рано. Мы шли домой с Исой вместе. Он, правда, не шел, а танцевал рядом, иногда пускался вприпрыжку, радуясь отмене уроков; учился он хорошо — разумеется, когда хотел, — но, как всякий мальчишка, предпочитал раздолье хлопковых полей тесной, душной классной комнате. К тому же надо сказать, Иса умел собирать хлопок — будь здоров! При норме шестьдесят килограммов играючи набирал восемьдесят, а то и все сто. Соответственно и зарабатывал больше: если за килограмм хлопка платили по восемьдесят копеек, то за килограмм сверх нормы — по рублю сорок. Набегали неплохие денежки. И Иса этим гордился: как же, он принес в дом денег больше, чем старший брат! При этом он так задавался, что только не требовал, чтобы я обращался к нему на «вы» и называл «ага» — Иса-ага.

— Я возьму твои сапоги, они тебе малы, ты уже в прошлом году едва втискивался в них. Ты возьми мамины резиновые, а пока сухо, походишь в башмаках. Ох и нажремся дынь, арбузов! — Иса тараторил без умолку, пыля рядом со мной.

— «Нажремся»! — усмехнулся я. — Всадит какой-нибудь сторож заряд соли в одно место, как в прошлом году Ниязу Сопливному, — нажретесь.

— Ха! — махнул рукой Иса. — Дурак он, твой Нияз, и его компания тоже. Кто же на бахчу лезет воровать? Ты подойди к сторожу, поздоровайся вежливо, о здоровье порасспроси, побалакай о том о сем — он сам угостит тебя до отвала, да еще с собой даст.

— Ладно, дипломат, пошли быстрее, — сказал я. — Ты знаешь, сколько у нас дел?

Иса удивленно взглянул на меня, хлопнул ладонью себя по лбу:

— Вот чудак, я и забыл, что будем крышу мазать...

— Кирпичи надо укрыть, дров наколоть, на мельницу сходить... — начал я перечислять.

— С тачек снять колеса, восстановить Энверкину тележку, — добавил Иса, будто я про это забыл.

После того памятного дня, когда Иса был заподозрен в диверсии и наш дом посетили отцы района, а Осман-ага Булгаклы посоветовал сохранить плодоносный слой, мы с братом несколько дней копались в известной свалке, но так и не нашли ничего похожего на колеса для тачек. Пришлось изъять колеса у тележки Энвера. Мера была крайняя — мы лишали брата возможности передвигаться хотя бы по двору, — но другого выхода у нас не было. Мы по-прежнему формовали кирпичи, а попутно подготавливали, как говорится, фронт работ для будущего дувала: снимали слой земли, оттаскивали ее в середину двора. Из обнаженного пласта вынимали и насыпали вал, который будет служить фундаментом дувала. Позволить себе каменный или цементный мы не могли.

Все лето работали по пятнадцать-шестнадцать часов: вечерами при свете лампы замешивали глину, утром, с зарей, брались за формы, после обеда, закончив формовку, впрягались в тачку (мама, если свободна, с утра одна возила землю). Так мы сделали двенадцать тысяч штук кирпичей, сняли верхний слой земли метра два шириной



по всей окружности двора, где поднимется дувал. Тут подоспело время хашара: мама получила зарплату, купила шесть бутылок водки с сургучной головкой, три килограмма баранины для шурпы, пятнадцать килограммов пшеницы. Мы попросили у Амана-бобо ишака и поехали вечером на мельницу.

Узбекские мельницы пятидесятых годов! Сколько бессонных ночей проведено в их запорошенных мукой неказистых стенах под неумолчный шум воды в желобах, гул каменных жерновов, из-под которых жиденькой струйкой выплескивается белая теплая мука, пахнущая сдобными пышными лепешками, солнцем, стерней! Удивительная честность и чистота человеческая царила под их темной низкой крышей! Принеся на помол зерно, вы ставили свой мешочек в ряд и постепенно, по мере движения очереди, переставляли его вперед, пока не оказывались перед деревянным, сужающимся книзу бункером, куда ссыпали зерно. Затем спускались вниз, к жерновам, из которых на квадратное деревянное корыто падала мука. Вы сметали ее веником или куском овчины в кучу, затем деревянным совком ссыпали в мешок. Но вы могли и не ждать, когда подойдет ваша очередь: поставили мешочек в ряд и ушли домой. Те, кто остался, будут передвигать его со всем рядом вместе, помелют зерно, отсыплют совком или два муки (смотря сколько зерна в мешке) мельнику, отставят ваш мешочек в сторону. Чтоб кто-то полез без очереди, позарился на горсточку муки или зерна или дал мельнику лишку — боже упаси! Никому и в голову такое не приходило. А Иса в тот раз учудил и схлопотал по носу, до сих пор вспоминать тошно.

Но расскажу по порядку.

Оседлали мы, значит, вечерком серенького ослика Амана-бобо — и в путь: я в седле, на коленях держу мешочек с зерном. Иса — позади, на крупе сидит, болтает ногами, ударяя голыми пятками по ляжкам ослика, гнусавит какую-то глупую песенку:

Хочешь, придешь, когда хочешь,  
Хочешь, уйдешь, когда хочешь.  
Уйдешь, когда хочешь прийти,  
Придешь, когда хочешь уйти...

Не знаю, сам сочинил эту тарабарщину или Энвер помог: он ведь у нас и стишки сочиняет. Наконец у меня лопнуло терпение, и я пропел тоже, подражая Исе:

— Заткнешься, когда захочешь, рот намаешь, уши прожужжишь!

— А что? — захохотал Иса. — Не нравится? Дорога длинная, забот нет, мотор (он шлепнул ногой по брюху осла) работает, чего же делать-то? А то давай говорить. Посмотри, какая луна на небе, лягушки щелкают, соловьи квакают...

— В лирику ударился! — засмеялся я.

— А что? — повторил Иса. — Я даже философией начал заниматься, слабó, думаешь? Вот слушай.

Он поерзал, поудобнее устраиваясь на ослином крупе, левой рукой обнял меня.

— Везем мы с тобой на чужом ослике пятнадцать килограммов пшеницы на мельницу, так? Чей ослик, мы знаем. Амана-бобо. Он нам всячески помогает, и мы теперь этому уже не удивляемся. Кто взрастил эту пшеницу — мы не знаем. Знаем только, что кто-то ее сеял, поливал, ухаживал за ней, снял урожай, намолотил. Частичка того зерна, пятнадцать его килограммов, попала к нам. Мы ее помелем, потом испечем лепешек, которые съедят люди, что придут к нам на хашар и помогут возвести дувал вокруг нашего двора. Посмотри, какая цепочка получается. Те люди, которые растили это зерно, знать не знали, что каким-то образом будут участвовать в наших делах, они и подозревать не могли о нашем существовании... Я думаю теперь: могут ли наши вот сегодняшние хлопоты, наши дела тоже как-то отразиться, к примеру, на тех же людях, которые где-то вдаль от нас растили этот хлеб?

— Не знаю, — ответил я, подумав. — Прямо, конечно, вряд ли. Но наши дела всегда касаются тех, кто вокруг нас. А те, кто вокруг нас, воздействуют, в свою очередь, на других, и так, волна за волной, как от камня, брошенного в воду, бегут круги, — пойдут наши поступки по жизни. Пока к нам самим же не вернутся. Мне кажется, никакой поступок человека — плохой или хороший — не проходит бесследно.

— Тогда, значит, лучше стараться делать добро, раз оно рано или поздно вернется к тебе. Ведь не так-то

приятно, когда зло, которое ты выпустил на свет, однажды вернется к тебе же.

— Вот именно. Хорошо бы нам всегда помнить об этом.

Не прошло и часа после этого разговора, в котором Иса пришел к таким правильным выводам, и он доказал, что не всегда наши слова, пожелания, мысли сходятся с поступками.

Мельница была забита людьми; мешки, мешочки самых разных размеров и разнообразнейших цветов возвышались до потолка, загромождали проход. С первого взгляда стало ясно, что нам не смолоть свою пшеницу и до завтрашнего вечера. Ису это очень расстроило. Он никак не мог спокойно усидеть на месте, то и дело вставал и выходил на улицу.

Мельник, с головы до ног припорошенный мукой, белый как лунь, рассказывал, как он однажды упросил летчика, который на своем «кукурузнике» сыпал на поля ядохимикаты, покатай его на самолете.

— Сел я в дырочку за спиной летчика, привязался ремнями, тубетейку засунул за пазуху — сижу. Глаза крепко зажмурил, думаю, будь что будет. Помощник летчика подошел к пропеллеру, взялся за лопасть. «Германия!» — крикнул летчик. Помощник крутанул лопасть. Мотор прорычал что-то, но не завелся. «Англия!» — крикнул летчик. Опять не завелся. Тогда летчик ка-ак крикнет: «Агония!»<sup>1</sup> Помощник крутанул пропеллер — мотор взвыл, точно пес, которому на хвост наступили, самолет весь задрожал, как в лихорадке, и запрыгал по кочкам, точно норовистый жеребенок. «Ё худое-худованда, прости и помилуй», — взмолился я аллаху. Открыл глаза, а мы уже в небе. Люди — что твои муравьи, дома — с коробочку хлопка, а канал Ферганский — ну не толще шнурка...

Иса заглянул в дверь, кивком головы подозвал меня. Я нехотя поднялся, вышел, не дослушав забавный рассказ мельника.

Небо было чистое, звездное. За мельницей глухо шумела вода, сбегаящая по желобам.

Иса отвел меня в сторону и воровато оглянулся.

---

<sup>1</sup> «А г о н и я!» — искаженная команда «Огонь!».

— Ну чего? — спросил я хмуро. Самому не сидится, и мне покоя не дает.

— Ты хочешь, чтобы мы проторчали здесь двое суток?

— Придется, раз надо.

— А я ждать не хочу, понял? Заткнул лотки ветками — сейчас мельница встанет. Нынче прохладно — кому захочется в воду лезть? А мы с тобой полезем, очистим лотки. За самоотверженность нас должны пропустить без очереди...

Не знаю, я никогда не поднимал руку на своих младшеньких, тем более на Ису, но тут словно что-то взорвалось перед глазами, и я влепил ему пощечину. Потом обеими руками схватил за грудки.

— Ты что ж, гад, делаешь? О добре рассуждал, о честности, а сам что надумал? Да ты ведь отравишься этой мукой, если так ее смелешь!..

— Отпусти, — прохрипел Иса.

Я разжал пальцы. Меня всего трясло.

— Иди очисти лоток как хочешь. Через десять минут проверю. Очистишь — проваливай отсюда, я не хочу тебя видеть.

Обратно на мельницу я не зашел, стыдно было людям в глаза посмотреть, хоть они ни о чем не подозревали.

Помыл руки в арыке, осторожно поднялся вверх, к запруде. Иса стоял голый у самой кромки воды, смотрел в темную пучину. При свете луны на фоне темного неба его фигура показалась мне до того маленькой, беспомощной и жалкой, несчастной, что я готов был окликнуть брата, умолять, чтобы простил меня, не лез в холодную воду, готов был сказать, что я сам все сделаю, но тут Иса, не разбегаясь, даже не оттолкнувшись ногами, своим особым манером — низко пригнув голову — змеей ушел под воду, не издав ни малейшего всплеска. Какое-то время ничего не было слышно, потом в лотках зашумело, темная вода в запруде пошла кругами. Лотки загудели по-прежнему ровно, вода стала убывать. Иса тихо вылез на берег и исчез в темноте. Я не стал его окликать. Вздохнув, пошел на мельницу. Вскоре вернулся и Иса. Волосы его были влажные, но лицо разгоряченное, красное — видно, бегал, отогреваясь, диверсант. Как ни в чем не бывало он подсел в круг рядом со мной, взял с дастархана кусок лепешки, отломил кроху, отправил в рот.

— Купался, что ли? — удивился мельник. — Ночами нынче холодно. Можно и простудиться. На, отогревайся. — И он протянул Исе чай.

Тот усмехнулся и, прижав руку к сердцу, принял пиалу. Тьфу ты, артист! В этом парне словно живут разные люди, разных, противоречивых характеров. И как только они не раздерут этого человечка на части, ума не приложу.

Пшеницу, в общем, мы смололи. Правда, к вечеру следующего дня. Но печь лепешки из этой муки нам не пришлось — лепешки принесли соседи...

Иса примолк, задумался. Подбородок вылез вперед, спина сгорбилась. Из-под мышки торчат книги, перевязанные бечевкой. Тих-ха, Иса думает! Как ни странно, иногда он так глубоко зарывается в себя, что требуется несколько дней, пока он выкарабкается. О чем он в эти периоды размышляет, никому не известно. Поэтому я никак не могу сказать, к хорошему ведут эти погружения или нет.

— Послушай, ага, — вдруг горячо зашептал Иса, очнувшись, — ты знаешь, чем болеет твой приятель Макит?

— Чего? — повернулся я к нему.

— У него какая-то болезнь такая... — повертел пальцами в воздухе Иса, — неприятная. Называется даже так: дермо... дерьмо... тоз.

— Ладно болтать, — передернул я плечами. — Всем бы так болеть, как Макиту. Да он здоров, как стадо быков!

— Но я сам видел справку! Полез в журнал, когда учителька вышла на перемену, а там — справка. Ну, я и прочел. Дана, что болезнь заразная и что зараза Макит Кайраков не обязан ходить на хлопок, чтобы не заразить других.

Иса такими вещами не шутит. Брать под сомнения его слова — значит навлечь на себя гром и молнии.

— Может, он скрывает, что болен. Мало ли что бывает! Иной раз ходит один, морда — арбой не объедешь, а глядь — завтра несут его бегом на кладбище: сердце разорвалось.

— Ну, твоего Макита не скоро понесут, — хмыкнул



Иса.— Он еще немало таких дураков, как ты, за нос поводит.

— А я-то при чем тут? — искренне удивился я.— Болеет — ну и на здоровье!

— А при том, что на твоей шее Энвер, строительство дома. Ты бы не пошел на хлопок, и никто бы тебе слова не сказал. Но сейчас ты будешь ишачить на поле, а богатырь Макит — отъедать ряху дома. А то и на курорт махнет.

— Пусть махнет, если у него такая совесть. А я должен быть чист перед своей совестью. Потом, заикнись Энверу, что из-за него не поеду на хлопок, он объявит голодовку. Ты же его знаешь! А стройка наша так и так должна подождать до будущего лета.

— Да, но землю-то ты мог потаскать, пока дома.

— Иса! Ну как ты не понимаешь: все наши соседи, весь кишлак, весь район — старики, дети, даже беременные женщины — будут на поле, а я — ковыряться на своем участке! Как мы после этого людям в глаза глядеть будем? Тем, которые совсем недавно приходили к нам на хашар? Чтобы снискать доверие и уважение людей, мы всегда должны быть с ними вместе — и в горе, и в радости...

Иса скривился, поддел ногой камушек и дальше пошел молча. Я опять вспомнил тот день, когда у нас собралась уйма народа, чтобы поднять первый пояс пахсы-дувала. Энвер, конечно, не преминул отобразить это событие. Я обрадовался, ну, думаю, почитаю, во второй раз переживу то прекрасное чувство, которое не покидало меня в тот день, когда работа в радость, усталость бежит прочь и время летит незаметно, а плод труда вот он, осязаемый, видимый, перед глазами.

Я принялся читать, но, сказать честно, меня ждало разочарование.

*В единстве сила*  
*Очерк*

*(Рукопись)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Конечно, рукопись, раз написано рукой. Это слово я сразу зачеркнул.

Шесть часов. Рассвет только-только занимается. Кишлак еще погружен в сладкий предутренний сон. Зазолотились снежные вершины дальних гор — восходит солнце. (Как красиво, а?) Вокруг тишина, покой. (Еще чего не хватало!) Но вот где-то нехотя чирикнула какая-то пичужка, ей ответила другая, третья... (Пятая, десятая.) Во всю торжествующую мощь зазвучала симфония жизни. (Ну, клеит! Сам симфонии слыхом не слыхал, как закручивает, а?) Начинался новый день. Великий день единения народов нашей страны! (Ни много ни мало!)

Сегодня проводится хашар — общественная взаимопомощь в доме фельдшера каттаюльского медпункта Пахтакорского района Ферганской области тов. Айше Таймазовой. Этот благородный почин одного из аксакалов села, ветерана гражданской войны Амана-бобо Маматкулова, был с энтузиазмом поддержан общественностью кишлака. В доме А. Таймазовой с утра собралось более тридцати человек, проживающих по улице Селькельды Каттаюля, в том числе сотрудник районного исполнительного комитета агроном т. Осман Булгаклы, председатель сельского Совета Ибрагим Байматов, школьные товарищи сына А. Таймазовой Селямета Таймазова Г. Паценко, Б. Акмаров, З. Адылова и другие (у-уф!). Кроме них, активное участие в хашаре приняли бригадир рисоводческой бригады колхоза им. Жданова Анатолий Ким, заведующий Каттаюльским райздравотделом Петр Моисеевич Гринберг. Хашар прошел под лозунгом «Достоинно поможем семье погибшего фронтовика!». Всего работало 46 человек. В результате двор Таймазовых огорожен дувалом высотой 1 м 20 см, общей протяженностью более трехсот метров, вынуты сотни кубометров земли. В хашаре участвовали представители восьми национальностей, как-то: узбеки, русские, украинец, казах, таджик, киргиз, кореец и еврей. Не это ли яркий образец советского интернационализма?!

В конце работы хозяйка дома Айше Таймазова выразила товарищам искреннюю благодарность.

Э. Мазов (Таймазов).

Р. С. Дорогая редакция! Если можно, прошу напечатать мой очерк под псевдонимом «Э. Мазов», а не «Э. Таймазов», ибо я сам являюсь одним из членов семьи

т. А. Таймазовой, которой и была оказана коллективная помощь жителями Каттаюля.

Сложив аккуратно листочки, я поднял глаза. Энвер напряженно глядел на меня. Ждал отзыва о своем труде. А что я скажу? Ничего того, что происходило в тот день, я не увидел. Ни того смеха, когда Халмат, наш сосед, узкоглазый плутоватый парень, обмазался грязью от макушки до пояса, объясняя, что где-то люди так лечатся от разных болезней, даже специально на Кавказ едут, когда они могли бы прийти на хашар и сэкономить денежки.

А как попал на хашар Анатолий Ким? Он проезжал по улице на велосипеде, когда мы только приступили к работе. Увидев много людей, он притормозил велосипед и крикнул по традиции: «Хорманглар!» — «Не уставать вам!» Байматов ему ответил, подмигнув остальным: «Устать мы еще не устали, мил человек. А вот ты зашел бы сюда, повесил свою шляпу на ветку, выпил пиалу чая да потом и поинтересовался, чем мы занимаемся».

Ким соскочил с велосипеда, зашел во двор, с каждым поздоровался за руку, повесил широкополую соломенную шляпу, как рекомендовал Байматов, на ветку и остался у нас до вечера. В обед, когда подали баранью шурпу, он накрошил в косушку двенадцать стручков красного перца. У всех глаза на лоб полезли (ведь перец был такой, что лизни — из глаз слезы вышибает, рот огнем жжет!), а он преспокойненько выхлебал шурпу (даже не вспотел!), с хрустом сжевал стручки, да еще добавил, поглаживая свои тоненькие усики: «Эх, на закуску бы салатика из перчика!» Ну и хохот стоял — земля дрожала!

Из муки, которую мы с Исой помололи, мама собиралась утром испечь лепешки, чтобы были они мягкие, теплые, свеженькие. В шесть утра к нам уже зашел Аман-бобо, поднял с постели. Не успели мы ополоснуть лицо, с большим свертком на голове пришла Зарифа-апа. Она вот уже две недели не вставала с постели, маялась сердцем. В свертке ее было штук тридцать лепешек. За ней с таким же свертком явилась Хадича-хала, одинокая старуха лет восьмидесяти. И она, и больная Зарифа-апа остались помогать матери стряпать. А другие соседки?

Они таскали чай (зеленый чай в жару во время работы пьется в Узбекистане ведрами!), принесли дров, чашки, ложки, пиалы...

А тут «очерк»! И слова, слова, от которых ни тепло ни холодно. Сел бы, коль уж взялся, да подробно, с самого начала и описал весь тот день.

Восемь опытных укладчиков заняли отведенные им места. Двое по очереди подавали им глину на маленьких лопаточках. Берет мастер глину — шлеп к основанию. Берет другой кусок — хлоп сверху. Еле поспевает первый подручный, за ним — второй. Шлеп-хлоп, шлеп-хлоп. Только руки мелькают. Передвинется мастер немного назад — опять шлеп-хлоп. И медленно поднимается перед ним дувал вдоль туго натянутых на колышках двух бечевки, и движется один мастер к другому, а другой — к третьему, третий — к четвертому. Остальные — кто-то носит воду, домешивает глину, сменяет уставших подручных с лопаточками. Шум, смех, подначки, без чего не обходится ни одна общая работа. То же продолжалось и за обедом. Сколько было слов: и что мало, и что водка от ожидания вспотела, и все такое прочее, а когда пиала пошла по кругу, все только пригубили — не в обычае было, и, кроме того, каждый знал: не на пиршество явился, а на работу и бутылки те куплены вдовой: «Нет-нет, хватит, не могу больше, захмелел совсем, пусть останется, потом, на новоселье, выпьем...»

— Ты что вообще хотел написать? — спросил я наконец у брата, зачеркивая и слово «очерк» под заголовком. — Это не заметка, и не информация, и тем более не очерк. Прежде всего уясни себе, пожалуйста, что ты хочешь написать, а потом уж пиши. Напишешь — покажешь.

— Плохо, значит, — констатировал печально Энвер. — Я и сам это чувствовал: не то получилось, не то.

— Не переживай. Получится. Ты еще ученик, вот и учишься писать хорошо.

После этого Энвер раз пять-шесть переписывал свой очерк, но мне не показывал. То ли боялся критики, то ли был еще не удовлетворен собой. «Пусть трудится, работа еще никого не убивала», — думал я. А Энвер, оказывается, из того очерка сделал рассказ, о чем я узнал много позже.

Нас, десятиклассников, привезли на хлопковые поля, что лежали за Большим Ферганским каналом. Лет пять тому назад эти земли были пустынные, безводны, покрыты густыми тугаями<sup>1</sup>, в которых водились дикие кабаны, шакалы, волки и фазаны. Здесь в первый год посеяли хлопок. Каждый куст — по пояс, по сорок — пятьдесят коробочек имеет. Освоил эту землю по собственной инициативе председатель нашего колхоза Абдували Молдокматов. Какие-то гроши потратил он на это дело. Поставил на канале два насоса «Андижанец» и сказал людям: «Вот вам вода, проройте арык, берите себе участки, кто сколько хочет, сколько сможет возделывать, вспашите и сейте что хотите. Пять лет будете пользоваться землей, а потом она отойдет колхозу». Участки брали не только колхозники, но и рабочие из Кабловской, выкорчевывали кустарники, пахали на волах, а то и просто кетменем взрыхляли почву, сажали картошку, лук, дыни, арбузы. Урожаи снимали хорошие: и себе хватало, и на продажу оставалось. И вот в этом году около ста гектаров отличнейшей земли перешло колхозу. Молдокматов построил двухкомнатный полевой стан, провел дорогу, покрыл ее щебнем, привезенным из Капчуга́я.

Одну комнату стана, поменьше, заняли мы, мальчишки, другую — девчонки. Тесновато получилось, но ничего. В других колхозах люди под открытым небом ночуют. «Чем больше народу, тем лучше: когда похолодает — дышанием будем помещение согревать», — заявил Наум Ефимович Грицай и поселился в нашей комнатке. Он не ходит, как другие учителя, — руки за спиной: цепляет на грудь фартук и пошел щипать хлопок длинными тонкими пальцами. По сорок — пятьдесят кило. Еще успевает в правление съездить с отчетом, за продуктами, другие бригады навестить, где работают наши.

Обеденный перерыв. Поварихи сварили макаронный суп. Расстелив мешки на земле, мы расселись широким кругом недалеко от казанов. Двое дежурных разносили обжигающие пальцы миски. Вдали появился всадник. Все приумолкли, глядя на дорогу и стараясь угадать, кто едет.

<sup>1</sup> Т у г а и — прибрежные заросли.

Я сразу узнал Молдокматова: широкие плечи, бритая наголо голова (блестит, как точеный шар!), буденновские усы, широкие скулы, узкие глаза, как у всякого киргиза. Левая рука у него в черной перчатке: деревянная. Ранило раиса в сорок втором. С сорок третьего Молдокматов председатель колхоза.

— Не уставать вам, богатыри! — крикнул раис, подвехав поближе.

— Таковую бы работу всегда! — ответил Паценко, кивнув на котел с супом. — Процентом бы на двести выполняли норму и не уставали.

— Идите на помощь! — позвала Галя Муркина.

— И помогу! Думаете, нет? — спрыгнул с коня Молдокматов. — Я за три версты, за каналом, учуял аромат вашего супа и повернул коня ему навстречу.

Раис обошел круг, со всеми здороваясь за руку, опустился рядом с Наумом Ефимовичем. Сели и мы. Повариха принесла в своей миске суп. Учитель протянул председателю лепешку:

— Одна осталась. Вас, видно, ждала.

— Конечно, меня, — согласился Молдокматов. — Все лепешки знают, что я рыскаю по полям вечно голодный. — Он обернулся к девочкам: — Ну, красавицы, хотите, из этой лепешки сделаю вам верблюда?

— Хотим, хотим! — обрадовались девчонки.

— Глядите внимательно. — Лицо председателя было серьезным, только глаза плутовато блестели. — Кусаем вот здесь разок. (За «разок», по-моему, он отхватил половину лепешки.) Вот тут тоже.

Проглотив очередной кус, зацепил негнушимися пальцами черной руки ложку, черпнул несколько раз супу. Отставил наполовину опорожненную миску, с сожалением посмотрел на жалкий кусочек оставшейся лепешки.

— Похоже на верблюда?

— Нет, не похоже! — загалдели красавицы.

— Эх, брак допустил! — покачал головой Молдокматов, уминая и этот кусок. — Не вышел фокус. Красавица, — обратился он к Гале Муркиной, — дай-ка твою лепешку. Из нее обязательно должен получиться верблюд, да такой красивый!

Галя доверчиво протянула раису лепешку. Та тоже в считанные минуты исчезла между мощными челюстями

Молдокматова. Тогда только до девочек дошло — зашумели, запротестовали, что, мол, нечестно это, обещали фокус, значит, и надо фокус показывать, а так это просто мошенничество. Ну, мы, ребята, посмеялись от души, и Раис, и Наум Ефимович тоже, конечно.

— Не обижайся, дочка, — сказал Молдокматов потом, вытирая глаза. — Зато вас теперь никто на эту наживку не проведет. А я перед вами должник. Уберем хлопок до Октябрьских — на праздник я вам жирного барашка зарежу. Попируем на славу. А хлебом, я думаю, твои подружки поделятся с тобой.

Раис еще раз поднял миску, выхлебал суп до дна, встал, опершись здоровой рукой о землю.

— Не надо, сидите, — остановил он нас, когда мы почтительно хотели подняться следом. — Поешьте хорошенько, чтобы хорошо работалось. Меня проводит Наум Ефимович. А вам сегодня привезут арбу дынь и арбузов. Ешьте, только работу не забывайте, — подмигнул он Паценко.

Работали до наступления темноты. На площадке перед станом выросла гора хлопка. С заходом солнца тотчас похолодало. Мы надели телогрейки, шапки.

— Ребята, — позвал Наум Ефимович, — хлопок надо накрыть мешками, пока не пала роса. А то завтра сушить придется.

— Могли бы и сегодня вывезти, — недовольно откликнулся Паценко. — Завтра некуда будет ссыпать хлопок.

— Был бы хлопок, место найдется, — усмехнулся учитель. — А вывозить колхоз не успевает. Нет транспорта. Завтра заводские машины подключатся — дело пойдет.

Ночью мне приснился сон. Будто бы иду по полю. Конца-краю ему нету. И растут на нем кусты хлопчатника в рост взрослого человека. И на каждом из них по коробочке хлопка. Да не простой коробочке, а с целый арбуз. «Э, — думаю я, обрадованный, — надо бы быстрее узнать, что за сорт хлопка. Пять коробочек — и полный мешок!» И собираю, собираю в фартук коробочки-арбузы. Потом взваливаю громаднейший мешок на спину и мчусь к стану, кладу на весы. «Норма! — объявляет бригадир. — Молодец, парень, умеешь работать. Сыпь хлопок вон туда». Я сыплю, а из мешка вместо хлопка вываливаются большие полосатые арбузы. Пораженный, я гляжу на них,

не могу с места сдвинуться. «Мерзавец! — кричит бригадир. — Мошенник! Напихал в мешок арбузов, хотел сдать как хлопок, да? Судить тебя будут, вот что!» — «Нет, нет!» — кричу я и просыпаюсь. Поднимаю голову. Сквозь щели окна, заколоченного фанерой, пробивается бледный свет. Доносится какой-то шум, невнятный говор. Вот что-то глухо упало, что-то скрипнуло. Я выбрался из постели и осторожно, чтоб не потревожить кого-нибудь из спящих товарищей, подошел к двери. Постель Наума Ефимовича пуста. Надев ватник, я открываю дверь.

У очага стоит ишак-арба, вокруг нее возятся какие-то тени.

— Эй, кто там? — окликнул я негромко.

— Таймазов, ты? — отозвался голос Наума Ефимовича. — Иди сюда.

— Что вы тут делаете в полночь? — сказал я, подходя.

— Какая полночь? Утро уже скоро. Помогите.

Увидев арбу, забранную четаном — решеткой из ивовых прутьев, все понял. Это прибыли арбузы и дыни, обещанные вчера председателем. Молодец раис-ака, умеет держать слово!

— Саломат, почему не здороваешься со старшими?

Ах, я и забыл о второй тени, возившейся возле арбы. А ею оказался Аман-бобо, наш сосед.

— Ата, здравствуйте, не узнал вас, богатым будете, — крепко пожал руку деда. — Не ожидал вас увидеть здесь. Арбузы приснились, я и проснулся. Выхожу, а вы и вправду арбузы разгружаете.

— Телепатия, — усмехнулся Наум Ефимович. — Я полчаса будил вас, кричал, что арбузы привезли, надо разгружать арбу, — хоть бы один шевельнулся. До тебя, видать, до одного только слово «арбуз» долетело. И на том спасибо. Лезь наверх, будешь нам подавать.

Минут через десять арба была разгружена. Я спрыгнул на землю.

— Что ж вы так поздно приехали, ата? — поинтересовался я.

— Когда же рано приехать, сынок? Ведь и на ишак-арбах возим хлопок на приемный пункт. Малая, но все же помощь. Вечером раис и говорит: «Обещал ребятам дыни и арбузы, а отправить нечем. Неужели, — говорит, — лгуном окажусь?» — «Почему же лгуном? — я говорю. —



Обещал, значит, отвезем». — «Это когда же?» — «Да вот сейчас». — «Ночь ведь наступает. Вам поспать необходимо. И так целый день верхом на осле». — «Мне так мало осталось жить, что нельзя отдавать драгоценное время сну», — говорю я. — Дед засмеялся и, вытирая тряпкой вспотевший круп осла, продолжал: — Вернулся домой, покормил животину, сам перекусил, заглянул к вам узнать, не надо ли что тебе передать, и поехал на бахчу. Мать была на работе. Сестренка твоя рукавицы связала, нă, возьми, носи на здоровье.

— Спасибо, ата. Как они там?

— Живы-здоровы, слава аллаху. Исоджан в седьмой бригаде, учетчиком его назначили. Сестренка после обеда на хлопок ходит. Мать твоя тоже на поле. Один Анвар дома. Сказал, что не скучает.

— Передайте им привет. А Султанье большое спасибо. При случае я тоже сделаю ей подарок.

— Это почему же при случае? — выступил вперед Наум Ефимович. — Сейчас как раз случай, раз бобо едет домой. — Он взял из кучи большущий полосатый арбуз и опустил на арбу. — Передайте это, если не трудно, Таймазовым.

— Передам, чего же там трудного. — Старик, кряхтя, взобрался верхом на ослика, кольнул его в круп острой палочкой.

— Чайку бы попили, потом поехали, ата, — успел сказать я.

— Некогда, сынок. Скоро уж рассвет. Хоть спать я не люблю, но вздремнуть часок-другой надо. А то сегодня буду совсем бесполезным.

— Ладно, счастливого пути.

— До свидания, бог вам в помощь.

Когда арба скрылась во мгле дороги, Наум Ефимович закурил, повернулся ко мне:

— Бабай от чая отказался, но ребята наши, думаю, с удовольствием попьют его, верно, Таймазов?

— Точно, — кивнул я головой, посмотрев на небо.

На востоке оно едва заметно заалело.

— Тогда иди тащи дров. А я наполню бак.

...На голове сооруженная из газеты шляпа. На ногах громадные ботинки из свиной кожи. Бязевая выцветшая рубашка, парусиновые штаны, выкрашенные в черный

цвет. На шее фартук, наполовину набитый хлопком. Иду по грядке согнувшись: если то и дело нагибаться-разгибаться, то так заломит поясницу, что света белого не-взвидишь. Одна рука обирает коробочки с кустов справа, другая — слева. Надо научиться так: глаза приметили коробочку, направили к ней левую руку, и тут же взгляд перемещается в другую сторону, дает работу правой. В это время левая рука уже ощипала коробочку, сунула хлопок в фартук — и так весь день: взгляд налево, взгляд направо — руки очищают коробочки. Как приноровишься, движения становятся автоматическими, глаза, руки, ноги работают сами по себе, освобождая голову. Хуже, когда пытаешься следить за каждым движением, — сразу нарушается ритм. Хорошо занять ум какими-то сторонними мыслями, а еще лучше что-то петь, мурлыкать под нос.

Я оглянулся назад. Ребята работают, рассыпавшись по всему полю. Утренний шум, гвалт стихли: кто-то ушел далеко вперед, кто-то поотстал, солнце припекает. Усталость свинцом вливается в тело — не до веселья. Там и сям мелькают цветные платки. Девчонки ловчее нас собирают, но им приходится тяжелее, когда набьют мешок в тридцать — тридцать пять килограммов: тащить его до хирмана около километра. Больше устают, пока донесут мешок, чем когда собирают. А если выделить бригаду, человека четыре-пять покрепче, которые и таскали бы полные мешки? Во-первых, девчонкам не пришлось бы ворочать тяжелые мешки, во-вторых, и другие сборщики сэкономяли бы час-полтора. И главное, не нарушался бы ритм. А то ведь пока дошел до хирмана, сдал хлопок — человек расслабляется, остывает, что называется, да если еще приятелей-друзжков встретил, начинается — в тенечке посидеть, на травке поваляться... Надо вечером поговорить с Наумом Ефимовичем, обсудить с ребятами. Если согласятся, завтра можно испытать с утра. А что не соглашаться? Ведь все, что требуется от каждого, — собрать три-четыре килограмма для носильщиков, чтоб и их норма была выполнена. А чтоб избежать путаницы, можно на мешки бирочки повесить с фамилиями сборщиков. И передовикам обидно не будет: я, мол, лучше собираю, больше, а тот — едва тридцать кило... Раньше попробовали в общий котел собирать — ничего не получилось. Восстали стахановцы вроде Исы. Да, Иса. Как он согла-

сил ся пойти в табельщики? Вот какие чудеса: Иса от- казал ся от заработка! Или сведения Амана-бобо невер- ные? Что-то тут не так.

— Таймазо-о-ов! Селя-а-а-ме-ет! — донес ся тонкий де- ви чий го лосок.

Я выпрямился, снял с го ловы га зетную шляпу, вытер рукавом потный лоб. Многие сборщики то же прервали ра боту, смотрят, кто там кричит.

— Селя-а-ме-ет!

Под тутовыми деревьями, в начале поля, стояли две фи гуры. Зение Адылову я узнал по красному платью, она ма хала таким же красным платком. Кто же рядом с нею?

— ...ди-и сюда-а! — донеслось опять. — ...воя ма- ама-а-а!

Едва услышал это слово, как что-то больно ударило в грудь, ноги ослабели, в ушах зашумело. Неужели что-то с мамой?

Я бросился бежать по грядке, не догадавшись даже снять фартук. Я чуть не падал, наступая на твердые комья земли, корявые, острые кусты цеплялись за штаны, за фартук, за рубашку, я насилу продирался и бежал даль ше. Сердце колотилось у горла, слезы и пот жгли глаза. Неужели опять несчастье, неужели опять горе, когда только начали оправляться от разных напастей и невзгод?!

Увидев рядом с Зение маму, я остановился, перевел дух. Захотелось вдруг упасть на землю, заколотить по ней кулаками.

Я вытер лицо и глаза, высморкался и не спеша, заставляя себя улыбаться, пошел к матери. Она то же глядела на меня улыбаясь, так что у меня отлегло от сердца. Ничего страшного! Но если мама приехала ко мне в такую пору, значит, все-таки что-то случилось! Вот и новые морщинки обозначились у глаз, и на лице печаль...

Когда я подошел, мама обняла меня. Я неловко топ- тал ся, поглядывая на радостно сияющую Зение.

— Чего это вы приехали? — спросил я, отступив не- много и отвязывая фартук.

— Решила проведать вас, — коротко ответила мама, — как устроились, как работаете. Чебуречков вот карто-

фельных привезла. А то ведь я знаю, как вы тут питаетесь.

— Нормально питаемся,— буркнул я.

— Ну, я пойду,— заторопилась Зение, услышав про чебуречки.

— Успеешь, дочка, ничего не случится, если отдохнешь с полчасика. Я и язму привезла, кисленькая, холдененькая.

— Нет, нет, меня ждут! — И Зение повернулась уходить.

— погоди.— Мама остановила ее, ухватила за рукав.— Возьми хоть парочку чебуреков, с подружками поедите.— Разворачивая сверток, лежавший под тутовником, перекладывая на вощеную бумагу еще теплые чебуреки, мама продолжала говорить: — Знала бы, что тебя встречу, конфет бы вкусненьких привезла. Такие красавицы, как ты, побольше сладкого должны есть. Вчера только твою маму видела, дома у вас все хорошо. Выпей немного язмы, доченька, потом пойдешь.

— Спасибо, повидала вас, Айше-апте, будто дома побывала.— Зение порывисто обняла маму, чмокнула ее в щеку и, засмущавшись, почти бегом пустилась прочь.

— Садись, поешь,— опустилась мама на корточки.

Я сел на травку, обхватил колени и посмотрел на маму долгим взглядом.

— Так что случилось, мама?

— Ничего страшного,— попыталась улыбнуться мама. Улыбка вышла жалкой, кривой.— Ничего страшного. Просто к нам гость приехал. Издалека.

— Кто-кто, гость?

— Дядя Исы, сынок. Илимдар-ага. Объявился-таки.

— Ну и хорошо, что объявился. Вон ведь сколько его разыскивали.

— Что нашелся, конечно, хорошо. Но он приехал забрать Ису!

Я невольно вскочил на ноги:

— Забрать? Он что, думает, Иса грудной ребенок? Да он же самостоятельный мужчина. Сам решит, как быть. Захочет — уедет с ним, не захочет... — Я осекся. Уверенности, что Иса останется, у меня не было.

— Вдруг захочет? — Голос мамы задрожал, лицо сморщилось, из уголков глаз выкатились слезинки.—

Я... он мне стал как родной... даже... больше... Как же я смогу его...

— Мама, не надо. Погодите. А что сам-то Иса сказал? Да говорите же!

— Он еще ничего не знает. Я решила сперва к тебе заехать, посоветоваться, как быть.

— Чего уж тут советовать! — усмехнулся я. — Придется на него сразу такой груз свалить... и что приемыш он, и что дядя нашелся, и что тот забрать его хочет...

— Да, — вздохнула мама, вытирая кончиком платка глаза. — Ты бы, сын, отпросился на денек. Не могу я без тебя...

— Конечно, отпрошусь. Вы посидите тут, отдохните малость...

— Иди, сынок, иди, душа моя. А я посижу. Устала я почему-то очень. И греет так сегодня, просто дышать нечем. К дождю, видать.

Наум Ефимович внимательно выслушал меня, удивился, что Иса, оказывается, не родной нам, похлопал по плечу, как бы говоря, что все образуется.

— Тогда я сдам свой хлопок и...

— Не беспокойся, — перебил меня учитель. — Мы сами сдадим. Иди к маме, не заставляй ее ждать. Представляю, каково ей сейчас.

— Ладно.

— Пстой, — остановил меня Наум Ефимович, едва я сделал несколько шагов. — Может, мне Байматову записочку написать, чтоб поговорил с тем человеком? Все ж таки власть — председатель сельсовета.

— Не надо, спасибо, Наум Ефимович, — покачал я головой. — Никто в этом деле не власть: ни мы, ни сельсовет. Иса, только он сам может решить, с кем он хочет быть. Если он прикипел к нашей семье, стал веточкой нашего дерева, а мы ему — родными братьями, сестрой, родной мамой, все будет хорошо. Если нет, тогда, значит, что ж... мы должны винить себя...

Искать Ису не пришлось. Он находился на хирмане седьмой бригады, стоял за весами, установленными на треноге из жердин. За ухом остро отточенный карандаш, на голове тубетейка, вокруг которой чалмой повязан яркий поясной платок, белая рубаха навыпуск, как уз-

бекский яктак<sup>1</sup>, лицо довольное, начальническое. Но когда Иса увидел нас, оно стало серым, на лбу выступила испарина. Оттолкнув кого-то, подбежал к нам:

— Что случилось? С сестренкой? С Энвером?

— Ты что, очумел? — закричал я на него. — Успокойся, ничего не случилось.

Мы отошли в сторонку. Иса, конечно, чувствовал, так же как и я недавно, что неспроста заявили мы, что хотя никакой беды дома нет, но все-таки стряслось что-то из ряда вон выходящее, раз мама сама приехала в поле. Он вопросительно взглядывал то на меня, то на маму.

— Да не тяните, говорите! — вскричал наконец.

— Видишь ли, сын, — начала мама, — прежде всего я должна тебе сказать, что ты...

Глаза Исы сузились, он скрипнул зубами.

— Если хотите сказать, что я цыган, приемыш, — не надо, все это я знаю.

От неожиданности мама выронила из рук сверток.

— Вы скрывали, а нашлись... добрые люди, просветили, — зло усмехнулся Иса. — Дальше что?

— Дальше. Отыскался твой родной дядя Илимдар, — сказал я поспешно. Рубить так рубить. Концерта все равно, кажется, не избежать.

— Та-ак, — протянул Иса. — Объявился, значит? И где вы его отыскиали?

— Не мы, а он нас нашел, — смогла наконец выговорить мама. — Дома у нас сидит. Приехал...

— Ну и хорошо, коли приехал. Мне-то что...

— Не придуривайся. Ты понимаешь, зачем он приехал? За тобой. Иди отпросись.

— За мно-ой? — округлил Иса глаза. — Вы что, гоните меня? — понизил он голос, отступая назад. — Мама, вы меня гоните? Разве я не ваш сын? Куда же я уеду, если здесь моя семья, мой родной дом, золотой порог, как вы всегда говорили?

Мама не выдержала, зарыдала, сгребла Ису в охапку, прижала к груди:

— Как же я могу гнать тебя, сын?! Ты мне роднее моих родных! Но видишь, какое дело... Илимдар-ага —

---

<sup>1</sup> Я к т а к — длинная белая рубаха без ворота.

единственный твой кровный родственник, сынок. Он тебе вместо матери, и отца, и родных...

— У человека бывает один отец, одна мать. Есть у меня дядя — хорошо, и только. Так и передайте ему...

Мама отстранила Ису и, держа за плечи, заглянула ему в глаза:

— Не говори так, сынок. Нельзя. Грешно это. Он не со злом приехал. Откуда дядя мог знать, не голодаешь ли ты, учишься ли, не истязают ли тебя — ведь и такое бывает, когда ты сирота! Илимдар-ага — единственный брат твоего родного отца. Увидев его, ты как бы увидишь отца.

Иса сдернул с головы чалму, вытер глаза, лоб, шею, завязал платок на поясе:

— Ладно, пошли смотреть... как бы на отца.

На окраине кишлака нам повстречался Аман-бобо. Я говорю «повстречался», но мне кажется, он специально поехал навстречу (мама с ним первым поделилась своей новой заботой) — нрав Исы дед знал не хуже нас, вот и решил, видимо, немного поувещевать его, пока он не наломал дров.

— А, как хорошо, что встретились. Садитесь, подвезу, я как раз домой еду, — остановил он ослика.

Ступая на спицы колес, мы взобрались на арбу, сели на связки свежего вьюнка. Старик сидел верхом на осле.

— Как дела, полвон? — подмигнул дедушка Аман Исе, трогая осла. — С тебя суюнчи<sup>1</sup>, Исоджан, я слышал, дядюшка твой нашелся. Это большая радость, сынок.

— Да, большая, — пробурчал Иса, отворачиваясь.

— Ты этого человека не обижай, — сказал бобо серьезно, садясь в седле боком. — Придете домой, поставьте на дастархане угощение, какое бог послал, садитесь, обсудите все спокойно, не спеша. Горячность — плохой советчик, Исоджан. Надо учиться держать себя в руках. Выхватить кинжал из ножен легко, вложить трудно. Дядя твой мне показался благоразумным человеком, отведавшим и горького, и сладкого, осложнять дело он не станет. Офицер, всю войну прошел...

— Хорошо, если бы и вы зашли, ата, — тихо попросила мама.

---

<sup>1</sup> С у ю н ч и — подарок за радостную весть.

— Зайду, конечно,— согласился дед.— Распрягу вот животное и зайду.

— А где он живет, Илимдар-ага? — поинтересовался я.

— В Воронеже,— ответила мама.— Женился после войны, там и остался. Учительствует в школе.

— Живой-здоровый — чего же он нас раньше не разыскал,— спросил Иса хмуро,— когда мы за пять лепешек из джугары ваше подвенечное платье отдавали? Где он был, когда ваше обручальное кольцо на три кило риса обменивали?

Мама что-то хотела ответить, но только махнула рукой и горестно вздохнула.

— У самого спросишь,— отрезал я.

Илимдар-ага оказался низеньким, коренастым человеком, большеголовым, скуластым. Лицо бронзовое, на левой щеке синеватый шрам, кустистые, лохматые брови. Кудрявые, как у Исы, волосы были седые, свисали до плеч, но пространство от лба до темени было зеркально чистое. То ли шрам оттягивал губы, то ли это было в характере дяди Илимдара — он постоянно улыбался. Даже тогда, когда обнял Ису и отвернулся, чтобы мы не видели наворачнувшиеся на его глаза слезы.

— Копия Куртнезира! Встреть в любом краю земли — узнал бы... Те же глаза, нос, губы... все отцовское.— Он отстранил Ису, поглядел в лицо, опять прижал к груди.— Родной мой... Видишь, вдвоем мы с тобой только и остались... двое на белом свете... Что они с нами сделали, сволочи, что сделали!..

Мама кусала губы, кусала, потом не выдержала, заплакала.

— Не знаю, как вас и благодарить, Айше, за то, что спасли мою кровинушку,— повернулся Илимдар-ага к ней.— Будь в моей власти, все сокровища земли свалил бы к вашим ногам...

— Что вы! — смутилась мама.— Разве человеческую жизнь оценить какими-либо сокровищами!

— Конечно, нет,— согласился Илимдар-ага.— Узнай фашисты, кого вы скрываете, они повесили бы и вас, и ваших детей. Ваш поступок трудно оценить. Мы с Исой на всю жизнь ваши должники. Верно я говорю?



Иса молча опустил голову.

— Идемте, заходите в дом,— спохватилась мама.— Поздно уже, вы, наверное, проголодались. Пошли, дети.

Разговор о цели приезда Илимдара-ага произошел после ужина, вечером, в присутствии Амана-бобо. Не было ни криков, ни слез. Гость держал себя так, словно заранее знал ответ Исы, не говорил: вот, мол, приехал тебя забрать. Он сказал, что хотел бы послать его учиться, когда кончит десятый класс. Может, дескать, станет ученым.

— Я не хочу в ученые,— ответил Иса.— Я буду агрономом. Молдокматов обещал устроить меня в сельскохозяйственный институт, если пойду работать в колхоз. У нас как раз заболел учетчик, нечем было его заменить. Вот я и пошел вместо него. Отныне я колхозник.

Я с раскрытым ртом уставился на этого паршивца. Так вот почему он пошел на эту работу! А я-то терзался в догадках, как же он отказался от хорошего заработка.

— Выходит, ты бросил школу? — спросил Илимдар-ага.

Мама почему-то промолчала.

— Никак нет,— ответил Иса.— Учиться я буду в вечерней школе. И в институт поступлю на заочное отделение.

— Но ведь тебе будет трудно и учиться и работать.

— А нам всегда было трудно. Не привыкать.

— Мы вдвоем — жена да я — занимаем четырехкомнатную квартиру в самом центре города. Детей у нас нет, думали, ты станешь предметом наших забот, нашим сыном, а когда мы состаримся — нашей опорой, посохом.

— Поздно мне уже быть чьим-то предметом забот. Что касается квартиры, то у нас тоже будет дом из четырех комнат. Со двором своим и садом.

— Видел вашу работу, молодцы. Я даже позавидовал. И когда думаете закончить стройку?

— Не знаю, год ли потребуется, два ли, но дом мы обязательно закончим. Вот увидите. Можно, я спрошу, а то все вы да вы, я даже устал отвечать.

— Конечно, спрашивай, сын.

— Вот мама... в Министерство обороны, еще в какие-то организации, которые занимаются поисками про-

павших без вести, писала... во все концы, но почему-то не смогла вас разыскать...

Илимдар-ага неловко поерзал на месте, отвел взгляд в сторону.

— Не знаю, сын. Быть может, потому, что я... изменил фамилию. Берекетли — очень трудно произносить, вот я и взял себе фамилию жены — Смирнов.

— Сми-р-р-нов, значит, — усмехнулся Иса. — Первый раз слышу, что муж взял фамилию жены.

— Что ж поделаешь, и такое бывает, — вздохнул Илимдар-ага. — Вы искали Берекетли, и я искал Берекетли, а ты, оказывается, стал Таймазовым.

— Эту фамилию мне дала мама, — сказал Иса, — чтобы спасти мне жизнь.

Илимдар-ага на это ничего не ответил, только вздохнул.

— Вот вы говорите, — продолжал Иса, — что одиноки, детей не имеете. Вы можете с женой переехать сюда, поближе к нам. Вот и были бы вместе. Квартиру можно обменять в Фергане. Работа везде найдется, учителей не хватает.

— Не знаю, я как-то не думал об этом. Во всяком случае, это дело надо... посоветоваться с Марией, как она посмотрит... У нее ведь там родные...

— А у вас — тут.

— Не знаю, посмотрим, посмотрим...

Разговор принимал неприятный оборот. На счастье гостя, вдруг на улице затарахтели моторы, загудели сигналы и прямо перед дверьми нашего дома остановились мотоциклы.

— О боже, что это такое? — испугалась мама.

— Эй, Берекетли, выходи сюда! Где ты скрываешься?

Пригнувшись, чтобы не бухнуться головой о притолоку, в комнату шагнул Баттал. За ним вошел, широко улыбаясь, Назим.

Баттал широко расставил ноги, всматриваясь в Илимдара-ага.

— Не узнаешь меня, старый плут?

— Баттал, ты ли это, шельмец?! — бросился в его объятия Илимдар-ага.

Пока они обнимались и целовались, Назим подмигнул мне и шепнул на ухо:

— Там, в коляске. Сними все.

В коляске была корзина продуктов, брезентовая сумка с бутылками.

Этот вечер, выражаясь языком Энвера, вылился в яркое торжество встречи двух довоенных друзей, друзей детства, вместе проказивших, учившихся, влюблявшихся. В этот день впервые в нашем доме шумели, как в праздник, пели песни. Даже Аман-бобо попытался спеть:

Живыми да здоровыми быть  
В это веселое, счастливое время  
Нам бы с вами... —

Но оборвал песню на полуслове и обратился к Батталу: — Слушай, Баттал, вот про тебя и дружка твоего Назима говорят, что вы хулиганы, бандиты страшные, а вы, оказывается, добрые, душевные люди...

— Хулиганы мы, ата, хулиганы, когда встречаем подлость, — смеялся Назим. — Не можем мы пройти мимо, не дав в зубы подлецу.

— Людей добрых вы не обижаете, я знаю, — согласился Аман-бобо. — Но уж очень эти ваши шайтан-арбы тархтят, ужас на животных наводят...

— Вы, наверное, осла своего имеете в виду, — захотал Назим. — Ничего, привыкнет. Пройдет лет пять, вы и сами оседлаете такого гремучего коня. Правду я говорю, Берекетли? — И он обнял Ису, который сидел с ним рядом и смотрел ему в рот. — Никто вас не обижает, Иса? Чуть что — скажи мне. Я уж поговорю с ним...

— А, — махнул рукой Иса, — есть один, которому я задолжал несколько оплеух. Но должок этот я верну сам, когда придет время.

Иса, видимо, имел в виду того забулдыгу в брезентовых сапогах, который задержал его как шпиона и расквасил ему нос.

— Вот это верно, вот это по-нашенски! — шлепнул его громадной пятерней по спине Назим.

Разговора об отъезде Исы ни в тот вечер, ни во все последующие дни, пока Илимдар-ага гостил у нас, не было. Назим и Баттал возили его по всей долине, побывали в Фергане, Коканде, Андижане, разыскали несколько знакомых земляков. Интересовался гость и обменом квар-

тиры. В нескольких районах ему пообещали работу, если решится переехать. Илимдар-ага здорово обрадовал Энвера: как-то из одной поездки с Назимом привез в люльке мотоцикла трехколесную инвалидную коляску. Точно такую, о какой когда-то говорил Иса. Думаю, он-то и надоумил дядю купить коляску. На ней Энвер мог теперь разъезжать по всему кишлаку, бывать даже на полях, посещать редакцию районной газеты, где ему выписали удостоверение внештатного корреспондента.

Уезжая, Илимдар-ага обещал часто писать, а летом приехать в отпуск, поработать на стройке.

— Теперь мы — родные, не должны забывать друг друга, — сказал он.

С этим мы все были согласны. Ведь и у нас нет никого.

## IX

Есть люди, которые находят какие-то особые прелести в осени. Пора урожая. Пора золотого цвета. Днем тепло, вечерами прохладно. «Отдушина для сердечников», — говорят старики. Возможно, все это так. Но я бы не сказал, что люблю осень. Осень, вернее, природу осенью я просто жалею, как, например, обреченного жестокой болезнью человека. Жалеешь, а помочь ничем не можешь. Дело шаг за шагом идет к концу.

Зиму, весну, лето принимаю как должное. А вот смириться с приходом осени — никак не могу. Осень напоминает мне о безостановочном беге времени, о том, что на спирали, по которой мы крутимся, есть отметина, к которой каждый из нас неумолимо приближается. Короче, осень напоминает мне всегда о смерти, о конечности всего сущего, и потому я ее воспринимаю с грустью, печально. Кроме того, осень означает для меня ветхое пальто, всегда мокрые, мерзнущие в худой обуви ноги, грязь, слякоть, жгучие ветры, воду, капающую с потолка, дрова, которых вечно не хватает, длинные тягостные вечера... Слава аллаху, пока забота о дровах нас еще не мучает. Выручает мазут Исы в двух ямах. Его, наверное, на две зимы хватит. Мама каждый раз, когда закладывает в печь паклю, густо пропитанную мазутом, возносит благодарственную молитву.

— Пусть хвори не знают руки того инженера из Кабловской, пусть голова его будет твердой и крепкой как камень, чтоб никакие беды не одолели.

— При чем тут инженер? — возмущается Иса. — Мазут-то я начал таскать, а не Страдовский!

— Но он вам помог.

— «Помог», «помог»! Одно дело помочь, другое — инициативу проявить. Сиди сложа руки — тебе никто не поможет.

— Тоже верно, — соглашается мама, ссыпает с подола в сторону, в кучу, вылущенные из курака дольки сырого хлопка, отодвигает шелуху в середину, берет еще несколько горстей курака.

— Вот кому, наверное, лафа — индийцам, им ни дров не надо, ни курак чистить ночами. Сорвал банан или хлебный плод — съел и пошел гулять. Мирово! — восклицает Иса.

— Ну уж «мирово»! У них тоже небось, у индийцев, забот хватает, — вздыхает мама. — Жаркий климат, холодный — везде надо работать, в дело душу вкладывать. Сорвал, съел — так не бывает.

— У них чай выращивают, — поясняет Энвер. — Представь себе, каково норму выполнить, собирая вот такие листочки! — показывает кончик мизинца.

— Думаешь, хлопок собирать легче? — не сдается Иса. — Тоже легкий как пушинка. А собирать надо килограммы, тонны, тысячи, мильён тонн. Намаешься — будь здоров!

— И у них, в Индии, хлопок сеют.

— Да они пять раз могут посеять — и все спокойно уберут. У них же круглый год лето. А здесь чуть не успел — урожай под снегом или под дождем погиб.

— Мама, а у нас зимой тепло бывало или тоже как здесь? — поинтересовалась Султание.

— Зимы у нас бывали довольно суровые. Но слякоти поменьше. Вечерами собирались у кого-нибудь на посиделки. Молодежь пела чýны и манé — припевки, ча-стушки.

Руки мамы замерли, держа полуочищенный курак; немигающий, отсутствующий взгляд уперся в слабый огонек лампы.

— Спойте, мама, что-нибудь, — попросил Энвер.

Мама встрепелулась, руки ее заработали быстро-быстро.

— Папа очень любил петь,— сказала она.— Ни одну вечеринку не пропускал. И все слова записывал в блокнот. У него был целый сундук записей. «Это ценнее любого клада»,— говаривал он...

Эти записи остались дома, когда с появлением Исы мы спешно перебрались к тете на жительство. Мама всегда корит себя, плачет, что утеряла папины записи.

— А какое различие между чином и мане? — спросил я, чтобы отвлечь маму от горьких мыслей.

— Чины поют степняки, ногаи, как у нас говорят, мане — горцы, то есть таты,— пояснила мама.— Вот любимый чин папы.

Мама помолчала, глядя на свои руки, потом тихо, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, запела:

В саду гранатовом  
Гранатов не набрал,  
В саду гранатовом  
Букет цветов нарвал.  
Бери, любимая,  
и не благодари,  
Всю жизнь мою как мой букет бери!<sup>1</sup>

Лицо мамы оживилось, в глазах появился незнакомый дотоле блеск. Не заставляя себя упрашивать, она затянула другой чин:

Ночь звездами полна.  
Плодами полон сад.  
Полно дарами море.  
И пуст усталый взгляд.  
И как пустыня — горе...

Никогда не думал, что мама умеет так красиво и легко петь. Петь ей при нас еще не приходилось (может, и пела она когда-то на родине в счастливые, безоблачные времена, но мы этого, конечно, не помнили).

У мамы такой чистый, приятный голос! Негромкий, идущий из глубины души, окрашенный печалью.

---

<sup>1</sup> Стихотворные тексты перевел Ю. Кушак.



пила тишина. Слышнее стал вой ветра на улице, стук редких капель дождя по оконному стеклу.

— Эх,— сказал Иса, нарушая молчание, такое ненавистное ему,— сидишь, скажем, вот так, чистишь курак, или еще чем занимаешься, или просто лежишь вон у печки на мягоньком миндере, а на стене кино показывают... Как было бы здорово, а?

— Хоть бы радио было, а ты — кино! — усмехнулся я.

— Со временем и кино будет в домах,— доложил Энвер.— Телевизоры. В Москве уже есть. Спектакли показывают, кинофильмы, футбольные матчи.

— Ну когда-а это будет! — опять зевнула широко Султание.

— Лет пять — десять — и телевизоров везде будет полно, вот увидите. К тому времени и высоковольтную линию Коканд — Фергана протянут, не будет перебоев с электричеством.

— Аксакалы решили силами махалли линию отвести от Поворота,— вспомнил я недавний свой разговор с Аманом-бобо.— Каждое хозяйство должно по столбу или два дать, ну и денег для проволоки и электромонтеров. Тогда будет и свет, и радио.

— Дело-то хорошее,— вздохнула мама.— Да нам сейчас это не к спеху.

— Отделяться нельзя. Если проведут линию без нас, с каким лицом мы будем потом к ней подсоединяться?

— Это-то, конечно, верно, но...

Маму прервал стук калитки и чьи-то тяжелые шаги, осторожное, предупреждающее покашливание.

— Посмотри, сынок, кого несет в такую поздноту?..

Я подошел к двери, отодвинул мандал — длинную палку, вдетую в жестяные петли, распахнул створку в зияющую мокрую темень. В квадрат света вступил человек, укрытый с головой брезентовым плащом. В руке он держал увесистую суковатую палку. Я посторонился, пропуская его в дом.

— Можно? — спросил человек, встряхивая и вешая плащ на гвоздь у двери.— Селям алейким.

— Проходите, Исмайл-ага, проходите,— поднялась навстречу мама.— Вот не ждали гостей...— Движением руки она указала на горки очищенного хлопка, кожуры курака.





— Да я не в гости, по делу,— снял глубокие галоши Исмаил-ага и, оставшись в белых аккуратных шерстяных носках, натянутых поверх брюк, пошел к печке, сел рядом с Исой.

Это был высокий, квадратный человек. Лицо изрыто оспой. Большая круглая голова обрита наголо. Пальцы на больших, как лопата, руках тоже толстые, короткие. Сделан человек основательно, крепко. Дела свои он тоже делал крепко, основательно. В конце сороковых годов как-то само собой получилось, что он стал правой рукой, незаменимым помощником коменданта района Гані Самбүтовича Шайхóва. Тут, наверное, сыграло свою роль то, что Исмаил Кутюк (это было не прозвище — «Кутюк» — «пенек», «обрубок», — а фамилия) некогда, еще до войны, работал конюхом при сельсовете, был, так сказать, приближенным к власти человеком.

Мама заварила чай, поставила перед поздним гостем сахарницу с мелко наколотым сахаром. (Вечерами мы всегда пили чай вприкуску — так привыкли, кроме того, вприкуску было и экономнее.)

— Дай чайную ложечку, Айше,— потребовал Исмаил, высыпал полсахарницы в чашку и стал звонко катать сахарочки.

Мы все молча наблюдали за ним, догадываясь, зачем он явился. В те дни всякие слухи будоражили татарское население района.

— Вы, наверное, знаете, зачем я к вам пришел,— то ли спросил, то ли подтвердил наши догадки Кутюк.

— Скажете — узнаем,— ответила мама.

Исмаил-ага полез в боковой карман облезлого пиджака, вынул толстый черный бумажник, перетянутый красной резинкой, выудил из него какую-то бумагу. Положил перед собой общую тетрадь, аккуратно обернутую газетой.

— Вот удостоверение, что я являюсь уполномоченным по вербовке рабочих для шелкомотального комбината города Ферганы,— сказал Кутюк, протягивая маме листок.

Мама взяла бумагу, пробежала глазами, но ничего не ответила.

— Я вас уже внес в список,— сказал Исмаил,— зашел, чтоб официально поставить в известность. Так что готовьтесь к переезду.

— Мы никуда не собираемся переезжать, — тихо ответила мама.

— Женщина, что ты говоришь?! — воскликнул Кутюк. — Горожанами станем, на комбинате будем трудиться, жить в благоустроенных бараках. Скоро и дети работать пойдут, специальность приобретут.

— Не нужен нам город, — отрезала мама. — И благоустроенных бараков тоже. Барак — он и есть барак. Мы хотим быть поближе к земле.

— Ты кыскааяклы<sup>1</sup>, Айше, не хочешь или не можешь понять, какие возможности открываются перед вами!

— Какие же, интересно? Только привыкли к людям, пообжились — опять поднимайся, давай куда-то! Имей совесть, Исмаил, зачем ты нас в список внес, не спросив? Ведь тут не написано... — Мама потрясла удостоверением Кутюка, которое до сих пор держала в руке. — Тут не написано, что людей надо силком гнать в Фергану.

— Да ты пойми, почти все записались из нашего колхоза.

— Погляди, разве все эти пальцы одинаковы? — протянула мама руку с растопыренными пальцами. — Привыкли уже: и не заставляют вас, а вы рады лоб расширить. Скажут вам волосы остричь, а вы готовы голову отсечь.

— Погоди, погоди, это ты на что намекаешь, Таймазова? — отодвинул от себя Кутюк недопитый чай. — Ты имеешь претензии к государству, которое набирает людей на предприятия, где не хватает рабочих рук?

— А их, этих рабочих рук, везде не хватает. По моему разумению, не по-государственному именно то, что вы делаете. Заполняете одно место, оголяете другое. Разве в колхозе, в сельской местности люди не нужны? Хлопок не нужен государству? — Мама взяла горсть курака с пола, ссыпала на хону, прямо перед самым носом Кутюка. — А ведь это и шелк, и масло — не знаю, еще что...

Уполномоченный-вербовщик не нашелся что ответить.

— Давай, Айше-ханум, поговорим спокойно, — пошел на мировую Кутюк. — Разве я зла хотел вам, когда

---

<sup>1</sup> Кыскааяклы — буквально: коротконогая; здесь в смысле: «Волос длинный, а ум короткий».

записал сюда? — потряс он общей тетрадью. — Думал, да же обрадуетесь. И так ведь на отшибе живете.

— На отшибе, но мы от людей не отделяемся. Для этого не обязательно тесниться в бараке. Лучше оставьте нас в покое, пусть каждый живет так, как его душе угодно.

— Конечно, живите, как вашей душе угодно, — обиженно захлопнул свою общую тетрадь Исмаил, особо подчеркнув слова «как вашей». — Мне жаль вас, Айше, большую глупость совершаешь...

— погоди, Исмаил-ага, прежде чем спрятать эту свою тетрадь, вычеркни-ка нашу фамилию, сейчас, перед моими глазами и глазами моих детей. Дать тебе ручку?

— Ладно, есть у меня. — Кутюк, ожесточенно скрипя пером старенькой авторучки, зачеркнул строчку в длинном ряду списка.

Иса заглядывал в тетрадь через плечо Исмаила.

— Вот так, — удовлетворенно сказала мама, когда требование ее было исполнено. — А теперь давай пить чай.

Она долила в чашку Исмаила горячего чая, прямо из сахарницы навалила ему сахару.

— Ты сам-то надумал ехать? — В голосе мамы зазвучали виноватые нотки: все же крутовато говорила со старшим, с мужчиной и в какой-то степени гостем. Но, как говорится, каков привет, таков ответ.

— А как же! — постарался не выказать обиды Кутюк, взял чашку обеими руками, отхлебнул чай. — Первым я себя записал. — Помолчал, потом добавил: — Вот ты накинулась на меня, такой да сякой, мол. А за это дело я взялся из самых добрых побуждений. И товарищи, которые назначали меня уполномоченным, сказали: «Вы, товарищ Кутюк, всех своих знаете, авторитетом среди них пользуетесь, вам легче будет с ними говорить, объяснить суть дела, что ничего плохого тут не замышляется».

— Оно, может, кому-то и лучше будет, — согласилась мама. — Но для меня смерти подобно срываться с насиженного места. Новые люди, новая обстановка — очень трудно привыкаю. К тому же дети...

— Там для них было бы больше возможностей развиваться. Городская школа все же не то, что сельская... Опять-таки Дом пионеров, стадионы, парки культуры...

— И шпаны всякой. И больше возможностей сбиться с пути,— вставила мама.

— Кому надо сбиться, тот везде собьется,— не согласился Кутюк.— Свинья грязь найдет.

— А вот и нет,— покачала головой мама.— В деревне каждый на виду, человек здесь, прежде чем совершить дурное, сто раз подумает, а как люди на это посмотрят... В городе же — вольному воля, делай что хочешь, никто даже головой не покачает осуждающе.

— Ну уж тут ты не права, Айше. Взгляд у тебя на город какой-то стародавний. Словно и не советская мораль там действует. Зря свой шанс упускаешь.

— Мораль-то, конечно, та, но... Видишь ли, взгляд, говоришь, у меня стародавний, может, потому-то я и не хочу переезжать в город. Я вот, например, не могу себе представить жизнь без клочка земли перед домом, без парочки кур, которым бы утром не задала корма, без десятка цветов, которых не полила бы своими руками...

— Курочек! — усмехнулся Кутюк.— Категории у тебя! А сама — медицинский работник, врач почти что.

— Ну и что! Я же земледельца дочь. У меня в крови любовь к земле, привычка на ней работать, а ты хочешь, уж коли я имею медицинский диплом, чтобы тут же забыла обо всем. Их и так достаточно, горе-интеллигентов, которым и хлеб взрасти, и одежду сшей, и гвоздь вбей, и кран прикрути. А мы своим хозяйством сами себя прокормим на этой земле, пусть за это нам спасибо скажут.

Исмаил-ага промолчал, допил чай, спрятал в карман бумажник и общую тетрадь.

— Не мое дело, конечно, Айше,— проговорил затем, поглаживая рябое лицо,— не мое дело, конечно, но ты не представляешь в своем женском легкомыслии, на какие лишения и трудности обрекаешь себя и своих детей.

Мама вопросительно взглянула на Кутюка.

— Я имею в виду вашу стройку,— кивнул Исмаил-ага на окно, за которым бесновался ветер и шумел дождь.— Еще те мужики затевали стройку, да быстренько остывали, нажив грыжу или чахотку... Вы только посмотрите на себя, где вам одолеть такое! Люди кругом просто смеются над вами, а ты, Айше, ничего-то не замечаешь.

Я думал, уговорю тебя уехать, благодарность заслужу, а ты на меня как на врага накинулась.

— Хорошее дело ты сделаешь, Исмаил-ага, если не стращать нас трудностями будешь, а подашь какой-нибудь дельный совет, если он у тебя есть.

— Ты, наверное, хорошо знаешь, Айше, одну нашу пословицу: «Каждый баран вешается на крюк мясника своею ногою». Что бы человек ни делал, плоды пожинает он сам. Будь они хорошие или плохие.

— Ну, это известно,— пожалала мама плечами.

— Лично я камня на камень положить не собираюсь. У меня был свой двухэтажный дом. Двором глядел на горы, окнами — на море... Из ракушечника я его строил. Он простоит еще сто, а то и двести лет.

— Мало ли что у кого было! — усмехнулась мама. — Из-за этого теперь прикажешь всю жизнь мыкаться по чужим углам да по баракам благоустроенным, как ты сказал, или катиться, как перекасти-поле, с места на место? Из кишлака в город, из города в другой город?

— Зачем по чужим углам? Государство у нас богатое, даст со временем казенную квартиру. И душ в ней будет, и горячая вода, и газ, и свет. И туалет тут же, в двух шагах.

— Вот это, наверное, самое главное,— улыбнулась мама. — Туалет в двух шагах. Десять шагов-то пройти трудно.

— Смейся, смейся, лет через пять — десять посмотрим, кому будет смешно. Мне ли в городе, тебе ли тут, на новостройке твоей. Кубометр-то леса шестьсот рублей стоит. И то, если его найдешь. А шифера вообще не достать.

— А мы крышу толем накроем,— рассмеялась мама. — А время, пока не достанем шиферу.

Исмаил-ага покачал головой:

— Гляжу я вот на тебя, Айше, и не пойму: то ли я дурак непроходимый, то ли ты шибко умная?

— Скорее всего первое,— подсказала мама. — А мою правоту докажет время. Приезжай к нам в гости лет эдак через пять, с большой корзиной. И детей своих привози, я вам комнату отведу, отдохнете от городского шума и сутолоки, фруктов и овощей поедите всласть.

— Хорошо, приедем, — поднялся Кутюк с места. — Спасибо за приглашение. Пойду я, поздно уже. Спокойной ночи!

— Всего доброго, — ответила мама. — Темно очень, может, фонарь тебе дать? Селямет, вынеси «летучую мышь».

— Нет, не надо, не беспокойтесь. Доберусь как-нибудь...

После того как Исмаил Кутюк ушел, мама сказала озабоченно (напускная храбрость разом слетела с нее):

— Не верю я этому человеку. Сейчас зачеркнул, а потом возьмет да опять впишет. Кто знает, может, ему норму какую спустили, а такой лоб себе расшибет, чтоб норму выполнить. Завтра зайду к Байматову, скажу. Пусть защитит, мы в его власти.

Но Исмаил Кутюк больше нас не беспокоил. То ли никакой нормы ему не спустили и он мог записывать только тех, кто хотел поехать, или норма та им уже была выполнена. Возможно, на общественного уполномоченного подействовала твердость мамы: все знали, и Кутюк не исключение, что при необходимости она умеет постоять за себя.

По две-три семьи отъезжали в Фергану в течение всей зимы, распродав или раздарив скarb, необходимый на селе: лопату там или кетмень, топор или серп. Мама ходила на проводы, помогала собираться и каждый раз возвращалась расстроенная. Сомнения одолевали ее: правильно ли поступила, безоглядно отказавшись перебраться в город? Возможно, в самом деле упустила «свой шанс», как говорил Исмаил Кутюк, отвернулась от счастья и благополучия детей? Не втравила ли она себя и детей в непосильное дело, не сломятся ли они под тяжким бременем? Тем более что после первых удач с хашаром, формовкой кирпича последовали и неудачи. Казалось, деньги те, десять тысяч ссуды (целое состояние, не правда ли?), утекают меж пальцев, хотя мы их почти не тратили на себя, так только, для самого необходимого. А требовалось много, ох как много: камни и цемент для фундамента, лес, шифер. Мама решила первым делом запастись лесом, пока денежки не все растаяли.

Поехали одним погожим воскресным днем на Каблов-

скую. Я, мама и Иса. Пилорама находилась на окраине поселка, у запасной линии железной дороги. Заведовал ею Абдурахмат Кадырходжаев. Он был посредником между колхозами района, нуждающимися в лесе (а нуждались в нем все), и несколькими сибирскими леспромхозами. Летом и осенью Абдурахмат уезжал в Сибирь, сопровождая несколько вагонов с виноградом, дынями или арбузами, обеспечивая сибирских товарищей витаминами. В его отсутствие полновластными хозяевами пилорамы становились его младшие братья Абдурашид и Абдухафиз, такие же тучные, неторопливые, вызывающе вежливые, как старший брат. Благодаря им пилорама и в отсутствие Абдурахмата действовала безотказно и вагоны с лесом шли из Сибири без перебоев. Умели работать Кадырходжаевы, умели. В этом мы убедились в тот воскресный день.

Командовал парадом сам Абдурахмат — в каракулевой шапке, черное пальто с каракулевым же воротником щегольски подпоясано шелковым цветным платком, на ногах скрипучие, сверкающие зеркалом хромовые сапоги. За голенище засунут чустской стали нож — видна костяная рукоятка, отделанная серебром.

У ворот пилорамы выстроились арбы, грузовики-трехтонки и полуторки. Они по очереди въезжали во двор, останавливались у штабелей досок. Абдурахмат шагами отмеривал штабель, на глазок определял высоту и объявлял: «Три кубометра... пять... десять...» Никто с ним не спорил, что недодал, обманул, все послушно принимались грузить отпущенные доски.

Мы долго ходили за Кадырходжаевым по заваленному песом двору. Абдурахмат нас не замечал и не замечал. Ну что за пожива мы для такой акулы? Улучив момент, мама все-таки завладела его вниманием — сунула ему ордер, выписанный райисполкомом. Абдурахмат и читать его не стал, повертел в руках и вернул обратно.

— Нету леса. Колхозы не можем обеспечить, а они там бумажки выписывают.

Мама начала путано объяснять, что нам нужно немного, каких-то пять-шесть кубометров, что достать лес — жизненно важно для нее, что без леса ну никуда, что детишки останутся без крова... Абдурахмат шагал вдоль пахнувших деревом и смолой штабелей, слушал вроде



и не слушал, а мама семенила за ним следом, говорила, говорила. За ней плелись мы с Исой, пришибленные, ничтожные, беспомощные. А шли-то мы сюда... Целый ритуальный танец устроили вокруг бумажки райисполкома, которая, казалось, открывала перед нами все дороги...

— У вас у самих, наверное, дети, вы уж пожалейте моих, окажите доброту, много я не прошу, каких-то...

Абдурахмат резко повернулся, взглянул на маму, потом на нас с Исой, опять перевел взгляд на маму, оглядел ее оценивающе, как измерял на глазок штабеля, сверху вниз, потом снизу вверх.

— Ладно, может, что придумаем. Приходите вечером.

Лицо мамы вначале побледнело, как мел, потом покрылось алыми пятнами.

— Пошли, дети, — сказала она, стараясь не глядеть на нас, повернулась и пошла.

Меня просто трясло от бессильной ярости. Ису шатало, как пьяного, пот градом катился с его лица. Я попридержал его за рукав, прошептал:

— Сабр, Иса, терпение.

— Пошел ты! — выругался он, вырываясь.

Пока пробирались через обширный двор пилорамы, вышли на улицу, мы сумели кое-как справиться со своими чувствами, хотя по-прежнему старались не глядеть в глаза друг другу.

— Ну вот, дети, вы слышали, что он сказал, этот боров? Что будем делать? — спросила мама, выбираясь на дорогу, ведущую в поселок.

Я не знал, что ей ответить. Выручил Иса, золотая голова:

— Сказал он «вечером», вот и придем вечером. Я думаю, вы можете ехать домой. Оставьте нам деньги — и езжайте. Раз он вам пообещал, теперь, наверное, неважно, кто заплатит и заберет доски. Нас он видел и, кажись, запомнил.

Мама рассмеялась, обняла Ису и расцеловала его.

— Умница мой, помощничек, ну что бы я делала без тебя, заступничка?! — И слезы, крупные, жгучие, бежали по ее лицу.

Мы так и сделали, как предложил Иса. Абдурахмата

чуть кондрашка не хватил, когда он увидел не маму без нас, а нас без мамы. Он долго петлял по пилораме, пытаясь улизнуть, но мы не отставали, гнались за ним по пятам. Под конец Абдурахмат не выдержал.

— Замотался я сегодня, ребята, — сказал он. — Приходите завтра, может, не так много народу будет.

— Вечером? — в упор спросил Иса.

— Что?

— Вечером, говорю, приходить или когда? — уточнил Иса с самым невинным видом.

— Не знаю, когда хотите! — крикнул Абдурахмат, вытирая большим цветастым платком пот с лица. («Неужели мы его проняли, толстокожего скота?» — удивился я.) — А сейчас проваливайте, мне пора закрываться.

Целую неделю кормил нас «завтраками» Абдурахмат, мы стали почти своими людьми на пилораме, примелькались рабочим и младшим братьям Кадырходжаевым, и, едва старший отбыл в очередную командировку, один из них, Абдурашид, щедро отмерил шагами штабель и сказал:

— Забирайте лес, молодчики. Надоели вы всем тут. Полпуда потерял брат из-за вас. Доняли вы его. Раньше срока уехал человек в Сибирь.

— Лишний вес вреден для здоровья, — сверкнул зубами Иса, неотразимый мой милый жучок.

Мы торжественно привезли доски, половина которых, правда, оказалась горбылями (скрытыми в середине штабеля), аккуратно сложили за домом, рядом с ямами мазута, прикрыли рубероидом.

— Ну, дети, можем поздравить себя! — воскликнула мама, когда мы, покончив с делом, мыли руки. Мама лила нам воду. — Одну из труднейших и главнейших задач мы решили. То-то я говорила, что глаз труслив, а руки храбры.

— Старающийся да одолеет горы, какие бы кручи перед ним ни возникали, — хихикнул Иса.

Мы уже наизусть знали все пословицы, которыми мама сыпала, когда речь заходила о стройке дома и она хотела придать нам силы и бодрости.

— Тебе ли бояться круч и гор?! — Мама дала Исе легонький подзатыльник. — Тебя между мельничными жерновами пропусти — целехоньким выскочишь. Идемте,

я задам вам сегодня пир: приготовила кобете<sup>1</sup> ради исключительной удачи.

Однако рановато мы пировали: через день рано утром нас разбудил отчаянный крик мамы. Выскочив кто в чем, мы нашли ее у штабеля досок за домом, вернее, там, где еще вчера горбился припорошенный снегом штабель, — сейчас здесь не было ни одной досточки. Мама лежала на земле, беспомощно подвернув под себя ногу, как сбитый в атаке пулей боец, вытянув руки вперед. Мы ее подняли, внесли в дом, дали воды. Придя в себя, мама долго сидела молча, раскачиваясь из стороны в сторону все сильнее, сильнее, потом вдруг упала на колени, воздела руки:

— О-о, будь ты проклят, кто позарился на нищенскую долю сирот! Чтоб ты благодарности детей своих не услышал, ослеп и языка лишился, чтоб ты если соль увидишь, то хлеба бы вкус забыл, если хлеб нашел, то в соли бы нуждался!

— Мама, не надо! Мама, успокойтесь! — кинулись мы к ней со всех сторон.

Она грубо оттолкнула нас и продолжала:

— Неужто разбогател, изверг, кровопийца, недоношенный сын недоноска-отца, отняв у несчастных их надежду, их кровные крохи?! Да пусть проклято будет чрево, носившее подлого и грязного разорителя гнезд! (Мне показалось, что мама проклинает не только воришек, но и всех тех, чья злая воля лишила нас отчего дома.) Пусть солнце шлет тебе только черные лучи, лишаящие разума, земля отринет прах всех твоих предков со времен Эдема и Авы!

Три дня мама ходила, повязав по самые глаза черную шаль, не ела, не пила, не проронила ни слова. Казалось, из дома нашего совсем недавно вынесли мертвого. Да, собственно, так оно и было по сути. На четвертый день, придя из школы, мы обнаружили в комнате штабель досок, обтянутый толстой проволокой и сверху прикрытый рогожей.

— Упавший борец не насытится борьбой, — молвила мама. — Никакому подлому ворюге не лишить нас дома. Не имели мы свой дом, будем иметь. Берегите эти доски, дети, пуще своих глаз. Больше у нас нет денег. Ссуда вся вышла.

---

<sup>1</sup> К о б е т е — большой пирог с мясной и картофельной начинкой.

Следствие, которое вела милиция по заявлению матери, никаких результатов не дало. Стало только известно, что в краже участвовали трое: преступники 37, 41, 42-го размеров обуви; один в кирзовых сапогах с характерными нашлепками на подошве, два других следа особых примет не имели. (В районе каждый второй носил кирзовые сапоги с такими характерными нашлепками, поди найди!)

Воры носили доски огородами (той же дорогой, какой мы с Исой таскали мазут), грузили на автомобиль, стоявший у обочины. (На щебень дороги натекла лужица масла — машина была старенькая, полуторка.) Казалось бы, серьезная улика, но и за нее милиции не удалось зацепиться: в районе почти все машины — полуторки, у всех протертые протекторы, у всех течет масло. Да и следствие велось, надо сказать, на нашем с Исой уровне (все вышеприведенные данные мы с ним выяснили сами, своими усилиями). Когда мама была у следователя, он приводил именно эти факты, а потом «дело» и вовсе закрыли: подумаешь, доски какие-то несчастные, не убийство же! Но после того случая у мамы участились головные боли в затылке, лицо с левой стороны стало сводить судорогой.

Между тем пришла весна, стало заметно пригревать. В школьном коридоре рядом с расписанием уроков появилось новое объявление. На нем крупными буквами было написано:

### ДО ЭКЗАМЕНОВ ОСТАЛОСЬ . . . ДНЕЙ

На пустое место дежурный каждый день вставлял новую цифру: 29, 28, 27. Вскоре двузначные сменились однозначными: 9, 8... 5... 3...

Да, всему свой черед. Всему приходит конец. Наступает зима, холодная, неудобная, но, как бы она долго ни длилась, в один прекрасный день кончается. Наступает весна. Но и она постепенно тает, незаметно уступает место лету. Потом вступает в свои права осень. Наваливается зима. И так — с железной последовательностью, и ничто не в силах изменить ее.

Школа, учеба казались мне вечными, хотя умом понимал, что однажды все это кончится. Вот и на объяв-

лении указана последняя цифра — 1; потом объявление кто-то сорвал — видимо, уже за ненадобностью. Смолк звонок, приглашавший нас в классы, высыпавший из классов шумную детвору. Для нас, выпускников, он умолк навсегда.

После выпускных экзаменов ребята решили с разрешения дирекции устроить прощальный ужин. Будут танцы-шманцы, стол. Только нужно собрать деньги. По тридцатке с носа. Закупкой провизии и прочего займется Макит Кайраков, человек с большими связями. Помогать ему будут девушки.

Когда разбредались по домам, Макит хлопнул меня по плечу:

— Айда, Селямет! Вечер вечером, но сейчас отметить конец школы надо.

— Это не школе конец, а учебе,— отвел я его руку.— Мне домой надо.

— Пойдешь через полчаса. Сгорит, что ли, он, твой дом?

— Не сгорит, он глинобитный.— Объяснять ему, что мне за хлебом надо, если его завезли, что Энвер голодный ждет?

— А, ну тогда дуй. Денежки сегодня отдашь или когда?

— Никогда. Я не смогу прийти.

— Дурак! Что ты болтаешь? Раз в жизни такое торжество, а он, видите ли, не сможет прийти. Ты что, очумел?

— Ладно, отстань.— И я быстро-быстро пошел прочь.

Как втолкуешь этому всегда сытому, никогда не знавшему нужды мордовороту, что дома денег до маминой получки только на хлеб осталось. А получка через пять дней. Выложить на вечеринку тридцатку для меня все равно что барана зарезать на один ужин. И без вечеринки обойдусь. Не помру. Очень-то я там нужен.

Мама была дома. Лоб повязан платком, лицо бледно-зеленое, опять, видать, головная боль.

— Неможется что-то, сын,— виновато пояснила мама.— Отпросилась у главного.

— Ложитесь, поспите, может, пройдет...

Что тут еще скажешь? Знаю ведь, сутки промается, ложиться будет, вставать, ходить, запрокинув голову,

массаж сделаем — все напрасно; боль пройдет, когда сама захочет пройти.

Энвер спал, обложенный книгами. Завтра у него первый экзамен. Уверен, пятерочку зашибет играючи. Не то что я — тройки выстраивать. Головастый мужик. Сказать честно, я горжусь им. Так же, как и Исой, и Султаном. Сестренка всю красоту, что нам причиталась, видать, себе забрала: кожа чистая, белая, упругая, овальное лицо с румяными щечками (само собой, с ямочками), большие черные глаза, опущенные длинными, загнутыми вверх — как говорят, ласточкиным крылом — ресницами, прямые длинные ноги (не то что у меня — колесом!), стройный стан. А что будет, когда подрастет, заневестится? То-то прибавится забот на мою голову...

Об Исе я и не говорю. По всем статьям любого за пояс заткнет. Один я нескладеха, так себе, на трояк сработанный...

За калиткой затрезвонил велосипедный звонок.

— Иди посмотри, сын, там, кажется, кто-то приехал, — сказала мама, морщась.

Пошел. Макит заявился. Стоит, опираясь на седло новенького, сверкающего лаком и никелем, с голубой рамой, единственного на весь район, чешского производства велосипеда «Stadion», щерится.

— Чего раззвонился, не в церкви небось. Заходи. Или собаки боишься?

Шутку, если не им самим состряпана, Макит не всегда сразу схватывает.

— Вы что, собаку завели?

— Ага! — засмеялся я. — Волкодава. Чтоб охранял нашу рассыпающуюся метлу.

— Ладно тебе, бедняк. А ты зря с нами не пошел. Шашлычок был. Отлично посидели! — Похлопал с удовольствием по пухлому животу.

— Селяме-ет, кто там? — послышался голос мамы.

— Я это, я! — крикнул Макит.

— Макит, чего же ты не заходишь сразу, сынок?

— Пошли, — повернулся я к дому.

Макит потопал следом, ведя велосипед за руль.

Мама налила нам по пиалке крепкого черного чая, который специально заварила для себя.

— Сегодня у вас, дети, большой день, — сказала она,



подсаживаясь к нам. — Почитай, взрослые уже. Со средним образованием. Но помните: не аттестат делает человека человеком, а человечность. Верными в дружбе будьте...

Макит молчал, с шумом отхлебывал чай. Весь его вид как бы говорил: «Да слышали уже, слышали! Опять напутствия! Сыты по горло. Зачем людям портить праздник?» Мама вроде почувствовала его состояние.

— Ладно, не буду вам мешать. — Поднялась с места, взяла старое папино пальто. — Прилягу где-нибудь на холодочке, может, пройдет голова.

— Ну, приготовил гроши? — повернулся Макит, едва мама вышла.

— Какие гроши?

— Тьфу, дурак ты, что ли? Ну, на вечер гроши. Куда же еще?

— Я же тебе человеческим языком объяснил: ни на какой вечер я не иду. Понятно?

В глубине комнаты кто-то завозился — кажется, Энвер проснулся.

— Ага, это Макит-ака пришел? Здравствуйте, Макит-ака, не узнал вас спросонья.

— Здоров, Энверик! Все валяешься, лежебока?

Энвер открыл было рот, чтобы, видно, отбрить Макита, но я строгим взглядом велел ему молчать, решительно поставил пиалу, поднялся:

— Давай отсюда, Макитджан. Разговор окончен. Если спросят, скажешь, Селямет заболел.

Макит пожал плечами, направился к двери:

— Вольному воля...

Он так и не понял или не захотел понять неуместность, жестокость своей шутки.

— Ага, можно вас на минутку? — позвал меня Энвер. — Макит-ака, подождите, не уходите... — Голос его был ровен, ничем не выдавал обиду.

Я подошел к брату, опустился на колени перед его постелью.

— Ага, я не спал, все слышал, о чем вы говорили. Почему вы не хотите идти на выпускной вечер?

— Ну, не хочу. Чего тебе еще?

— Ничего. — Энвер сунул руку под подушку, вытащил какую-то сероватую бумажку. — Вот, сегодня только при-



несли. Извещение. Получите деньги и идите на вечер.

Я развернул плотную бумажку. Адрес наш. Э. Таймазову. 36 руб. 47 коп.

— Это что за деньги?

— Гонорар из «Ферганской правды». Заметку мою напечатали.

— Оставь себе. Или что-нибудь купим. Ну, хотя бы мяса.

— Нет, ага. Нельзя все время так жить. Что-то должно быть и для души. Обойдемся без мяса, не умрем. Но вечер, от которого вы отказываетесь, бывает раз в жизни. Нельзя вам не пойти. Потом пожалеете, да поздно будет.

— Долго еще там? — потерял терпение Макит.

— Макит-ака, поезжайте-ка с братом на почту, получите вот эти деньги и решите насчет вечера.

— Что за деньги?

— Так, перевод небольшой. Родичи вспомнили. Кажется, вовремя.

— Ну и отлично, молодцы родичи! Почаще бы так вспоминали. Поехали, эй, бедняк!

— Ладно, поехали.

— Счастливо! — звонко крикнул Энвер.

Если говорить о счастье, то, наверное, счастливее самого Энвера не было сейчас на свете человека. Ничтожный, как думал, например, пятью минутами раньше Макит, прикованный к постели калека смог помочь брату, выручить его. Бывает ли бóльшая радость, когда ты вдруг почувствовал, что можешь быть полезен, способен кому-то приносить пользу?

Я сел на багажник знаменитого велика. Макит нажал на педали, и мы полетели на почту...

Время перевалило за одиннадцать. Я стою, жду Макита. Мы условились встретиться с ним в десять ноль-ноль и зайти в райком комсомола за путевками на целину. Договорились железно, но Макита все нет и нет. Уже больше часа торчу. Вконец обнаглел малый. Везде-то он опаздывает: и в школу, и на сборы всякие. Его ругают, а ему хоть бы что, — смеется! Потому-то, видно, и накопил свои центнеры: руки как мои бедра, а туша в три моих

веса, щеки на плечах покоятся. Семнадцатилетний парень, а? Что с ним станет эдак лет через пять-шесть, представить трудно.

Макит играет в футбол. Мало кто осмеливается пугаться у него под ногами. Коли он разбежался, берегись: разметет всех, точно шар кегли, прет, будто паровоз, набравший ход, не помешаешь ему, не остановишь. Кулаки у него с мою голову, одним ударом может запросто быка скопытить. Да, силы у него предостаточно, а вот обязанности...

Все время оглядываясь (как бы не пропустить Макита, если вдруг появится), я прошел вперед, заглянул в окно парикмахерской.

— Абрам, который час?

— Без пяти двенадцать. Заходи, побрею.— Чистильщик сапог, с кем можно было бы поговорить, отсутствовал, и Абрам от нечего делать брил себе голову бритвой, заглядывая в зеркало, которое водрузил на подоконник.— Дешево возьму. Ученический тариф.

— Спасибо. Некогда.

Я вернулся к почте, месту нашей встречи. Макита не было. Ну, это уж слишком! Издевается, что ли? Два часа заставил ждать. Разве люди так поступают?

А впрочем... Может, с ним что случилось?

Я зашел на почту, попросил телефонистку соединить с домом Кайраковых. Трубку подняла мать Макита.

— Алё, да, кто его спрашивает? Селямет? А, здравствуй. С чего это ты вдруг ждешь его возле почты? Насчет путевок? Ты, парень, вот что: не задуривай голову моему сыну. Кому надо, тот и освоит ту пустыню. Ишь чего надумал! Не Макитово это дело. Он должен о своем будущем позаботиться, пока отец жив-здоров, ясно? Сам делай что хочешь, но Макита оставь в покое, понял? Он к экзаменам в университет должен готовиться.

— Понятно.

Я повесил трубку, осторожно прикрыл дверь телефонной будки, вышел на улицу. Ослепительное солнце было черным. Та-ак, выходит, Макит предал наши мечты, забыл клятву, которую мы давали, обманул друга. Друга? Вообще считал ли он меня своим другом? Разве не давал он понять на каждом шагу, каждым своим поступком, каждым своим словом, что я ему не ровня? А я, слепец,

не замечал этого. Вернее, старался не замечать. Кроме того, он никогда ни к чему не относился серьезно, всегда был себе на уме, греб под себя. И я с ним, с таким, мечтал взяться за такое дело. Да если бы он даже поехал на целину, на первом же шагу предал бы! Спасибо, хоть вовремя отказался... Вот приду домой — расколошмачу вдрызг ту гитару, отделанную перламутром. И все кончено между нами, Макитджан.

В приемной секретаря райкома комсомола, кроме меня, сидят еще трое. Двое, видно, из отдаленных колхозов, молчаливые, сосредоточенные. Третий, тот, что ерзает у самой обитой дерматином двери, беспрестанно сокрушается, в сотый раз пытаюсь поведать, хотя его никто не слушает, за что завели на него персональное дело. Когда его пригласили, в приемной наступила гнетущая тишина. Я придвинулся к окну. На ярко освещенном солнцем дворе стоит старенький «Москвич». В его тени лежит худющая собака. Хоть и не жарко, она разинула пасть, вывалила длинный красный язык, с которого течет обильная слюна. Больная, что ли? А может, представляет, как вкусно хрустели бы в зубах крылышки грязно-белой курицы, вхохлущей невдалеке?..

Собака широко зевнула, помотала головой, словно отгоняя несбыточные мечты, уронила морду на вытянутые вперед лапы, закрыла глаза.

— Таймазов, идите, вас ждут.

За столом, покрытым зеленым сукном, сидит высокая худая девушка. Наверное, первый секретарь. У нее длинные черные волосы, заплетенные в толстые косы. На голове андижанская цветастая тюбетейка.

Справа от секретаря, на скамейке у стены, расположились еще двое. Видно, помощники-советчики. Один русский, другой узбек. Разглядывают ожидающе. Тебе, мол, чего? Не вызывали, сам явился.

— Садитесь.

Сажусь. И вдруг ощущаю острую резь в желудке. Вот не хватало. У меня всегда так, когда попадаю в официальное учреждение. Теряюсь, волнуюсь, и обязательно что-нибудь начинает болеть.

Гляжу на секретаря. У нее лоб, виски желтоватые, щеки, подбородок зеленые. Крашенная, что ли?

— Слушаю вас, Таймазов. Что вы хотели?

Запинаясь, ломая пальцы, начинаю говорить. Недавно окончил школу. Хочу поехать на Алтай, прошу дать мне путевку.

Секретарь слушает меня молча, постукивает двумя пальцами по лежащей на зеленом сукне папке-скорошивателе, иногда взглядывает на помощников.

Я продолжаю говорить. О романтике безбрежных хлебных полей, которым нужны свои герои, о трудностях, которые надо преодолеть, и все такое. Но чувствую — говорю вяло, неубедительно. Не звучит как-то все это у меня, меркнет на ходу, тускнеет.

Секретарь открывает папку, листает бумаги, подшитые к ней. Мое «дело», наверное. Я ведь заранее записывался на прием, потом сюда внесли целую кипу таких папок. Сам видел.

На губах секретаря едва заметная улыбка.

Точка. Я свое сказал. Теперь ваша очередь.

— Все это хорошо, — говорит секретарь, закрывая папку. — Желание у тебя, Саломат, похвальное. Но видишь ли, на Алтай у нас путевок нет. И в Казахстан тоже. Мы могли бы послать тебя на стройку нового города в Голодной степи, Янгй-Ера...

Ну вот, пожалуйста. Человек мечтал об Алтае, а его посылают в Голодную степь. Он хотел осваивать целину, а ему советуют строить город.

Я молчу. Секретарь чувствует, что я не согласен с ней.

— Айша-апа Таймазова твоя мать? — вдруг спросила она.

Я кивнул.

— У тебя двое младших братьев и сестренка, так?

Она опять застучала по папке. На ней было написано: «ТАЙМАЗОВ С. М. СР. ШКОЛА № 1 им. А. С. ПУШКИНА». Все понятно. Здесь подшита моя биография. Вычитала, когда листала бумажки.

— Если даже ты уедешь в Янгй-Ер, который сравнительно недалеко отсюда, матери все равно будет тяжело, — продолжала секретарь. — Как-никак трое детей. Один инвалид.

— Кто ему будет помогать учиться, если ты уедешь? — спросил помощник, русский парень.

— Кроме того, вы начали строить дом. Кто же доведет

стройку до конца? Говорят, оставишь дело на потом — снегом засыплет. — Это уже другой помощник, узбек.

В автобиографии этих сведений нет. Я хорошо помню. А дом мы затеяли прошлым летом. Откуда они все знают?

— На твоём месте, парень, — все стучит пальцами секретарь, — я бы пошла работать на завод. Хочешь, дам тебе направление на Кабловский нефтеперерабатывающий?

Я молчу с опущенной головой.

— Работа везде работа, главное — как работать, — вмешивается русоволосый помощник. — Труд рабочего так же важен и необходим, как и труд хлебороба. Не будь бензина, керосина, солярки, масел всяких, которые дает, например, нефтеперерабатывающий, не будет и хлеба. Машины, тракторы, комбайны — все механизмы станут. Это ж как на войне. Солдат ничего не может сделать, если в тылу нет настоящих трудяг.

— На заводе не хватает людей, примут тебя с радостью. Зарботки тоже там хорошие. Со временем получишь разряд, пойдешь учиться заочно. Станешь инженером-нефтяником. Василий верно говорит, скоро нефтяники на вес золота будут.

Секретарь вышла из-за стола, подошла ко мне, положила руку на плечо:

— Согласен, Саломатджан?

Я пожал плечами. А что я им мог ответить?

— Василий Егорович, выпишите ему направление. — Потом мне: — Не расстраивайся, братишка. В жизни не все так получается, как нам мечтается. Надо уметь достойно принимать реальное. И суметь доказать себе и другим, что ты везде способен быть хорошим и нужным. Я уверена, ты не помянешь нас недобрым словом.

Помощник протянул секретарю направление, тут же нацарапанное от руки. Та прошла за стол, вынула из ящика печать, дунула на нее и приклепнула. Вот и все. Прощайте, детские мечты, розовые, несбыточные. Начинается новая жизнь. Какая — неизвестно. Это уж, видно, от меня самого будет зависеть.

— В случае чего, заходи к главному инженеру, как его...

— Страдовский, — подсказал я.

— Ты его знаешь? — обрадовался секретарь. — Вот и

отлично. Обращайся к нему. Он всегда поможет. Хороший человек.

Я вышел на улицу. Нет, солнце не было черным. Оно светило по-прежнему ярко, весело. Небо голубое. На деревьях щебечут птицы. На дороге гудят машины.

Я опять вспомнил о гитаре, купленной с Макитом в складчину. Нет, не сниму я ее со стены, не шмякну о землю, не сгребу останки и не кину вместе со струнами в очаг. Нет, решил я, разбивать гитару не стану. При чем тут она? Она может еще пригодиться. Не мне, так кому-нибудь более везучему, чем я. Просто я теперь буду знать, что с Макитом у нас разные дороги. У него своя, у меня своя. Какая из них верная — покажет жизнь, на золотом пороге которой мы стоим.

*1971—1972*

# ДЕРЕВЬЯ РАСТУТ ВВЕРХ



Где-то далеко-далеко, за тысячи и тысячи километров, идет война. Рвутся снаряды, визжат мины, грохочут бомбы, люди утыкаются лицом в рыхлый снег, не успев даже прошептать последнее слово «мама». Идет великое сражение на суше, в воздухе, на воде. Мой отец в самой гуще той войны. Он танкист. По ночам мама сидит в постели, освещенная слабым мигающим светом коптилки, молится, если то, что она шепчет чуть слышно, можно назвать молитвой.

— Великий всемогущий аллах! Внемли моим мольбам, убереги отца нашего, кормильца и опору, свет в окошке, надежду и любовь нашу, от шальной пули, пусть мотор его танка работает бесперебойно, не подводит хозяина, пушка не дает промаха, а броня будет крепка и надежна... Посей смуту, страх и раздор в стане врагов, разучи их стрелять и убивать, помоги правому и накажи кровопийц, преступивших все твои заповеди.... Пусть отец наш, часть души нашей, заступник наш, выйдет из этой бойни живым и невредимым, вернется домой к детям своим, возвратит глазам нашим свет, сердцам — радость и тепло. Услышь меня, о всевышний, не оставь мои мольбы без ответа...

На улице завывает ветер, корявые черные ветки урючины, мерзлые насквозь, тоскливо скребутся в окно. В печной трубе будто кто-то стонет, жалуясь на свою судьбу. Потрескивают, словно под неимоверной тяжестью, прокопченные балки, поскрипывает дверь, запертая на длинный засов — мандал, на нее будто кто-то, зверея, напирает плечом...

Я лежу, укрытый с головой, свернувшись калачиком, спрятав руки меж колен, с закрытыми глазами, делаю вид, что сплю. Слышу горячий шепот мамы, звуки, доносящиеся отовсюду, ежусь от стужи, стоящей в комнате, прочно засевшей в моем сердце...

Эта стужа противная, скользкая, как жаба, когтистая, точно одичалая кошка, и порождена она, я теперь знаю, одиночеством, страхом, стыдом...

Сегодня печка не топилась. Нечем было. И ужин не готовили. Кое-как проглотили свои куски клеклого ржаного хлеба — сожми, вода засочится! — поспешно влезли



под одеяла, ища спасения от холода, побросали на себя сверху все, что могли. Долго лежали не шевелясь, пытаясь согреться, потом мама начала молиться, как обычно, а я задремал, но тут же проснулся, когда шепот мамы умолк. Теперь она лежала, уставясь большими немигающими глазами в потолок. Мама сегодня обижена. На меня. Я виноват, конечно. Хотя и вовсе не хотел ее обидеть. Так уж получилось. Не хотел, а пришлось ей врать, чего я никогда не делал. Но другого выхода у меня не было. Ладно, пусть сердится, пусть, если хочет, ругает, но лишь бы не узнала, что со мной сегодня случилось, что я пережил. Она днем и ночью думает об отце, горюет, печалится и бьется как рыба об лед, чтобы мы не протянули ноги от голода: еще затемно уходит на станцию, где до позднего вечера таскает рельсы, шпалы и гравий на укладке запасных железнодорожных путей. Что с нею станет, если еще перестанет верить в меня? Ведь она уверена, что сын ее благоразумен, не по годам самостоятелен: оставит одного на весь день и спокойна... Теперь она, конечно, засомневалась, что сын не такой уж паинька, подумала, верно, что растет он эгоистом, заботится лишь о том, как бы развлечься, погулять в свое удовольствие, кó всему еще и лгунишка, врет напропалую, хотя ложь его шита белыми нитками...

Только бы она не узнала, что мне сегодня грозило... Лишь бы не догадалась, что я сегодня мог и не вернуться домой, а завтра нашли бы мои обглоданные косточки в каком-нибудь засохшем зауре...<sup>1</sup>

Мама, родная, прости, что я сегодня соврал тебе. Все получилось так потому, что я очень хотел тебя обрадовать, а вышло наоборот. Что хочешь делай со мной, только не отвернись, не махни рукой на меня, недостойного. Не оставляй меня больше одного! Мал я, оказывается, еще глуп. Но уже знаю, что такое одиночество. Это страх, гибель. Одинокий человек — это мучения, это вообще не человек... Не думаю, что есть люди, которые добровольно обрекают себя на одиночество. Это, наверное, получается как-то само собой, и тут уж ничего не поделаешь. Приходится терпеть.

---

<sup>1</sup> З а ў р — дренажная канава.

...Утро. Тщательно намотав на ноги портянки, я натянул кирзовые сапоги, надел стеганый ватник, завязал тесемки шапки, обмотал вокруг пояса веревку, капюшоном накинул на голову мешок и вышел на улицу. День стоял морозный, но тихий, казалось, вот-вот засветит солнце. Земля, не покрытая снегом, затвердела, была звонкой, гулкой, грязь на дороге застыла, и колеи от колес арб выглядели как рваные раны.

Мы каждый день поутру отправляемся втроем-вчетвером в поле собирать тюпчак — корни гузапай. Кусты в те времена сжинали серпом, и корни оставались в земле. Осенью, когда поднимали зябь, эти корни оказывались на поверхности. Выдергиваешь тюпчак, резкими ударами отряхиваешь от земли, укладываешь в кучки, которые затем убираешь в мешок. Тюпчак лучше гузапай — дольше горит, дает какие-никакие угли. Вережку мы берем на тот случай, если вдруг повезет и мы наткнемся на кусты несжатой гузапай, что случается, впрочем, крайне редко. Ну, а уж если повезло, то вяжешь сноп и тащишь на спине.

Когда мешки наполнены, мы позволяем себе развести небольшой костер, достаточный, чтобы разогреть на огне черствую лепешку, отдохнуть, ведя чисто мальчишеские разговоры. Иногда рассказываем сказки, реже задаем друг другу загадки: тут нужно поломать голову, а наш усталый организм противится всякому напряжению. Потому-то, наверное, мы никогда не хохочем, не резвимся, как большинство детей в нашем возрасте. Мы похожи на маленьких серьезных старичков.

Я по-узбекски еще разговариваю неважно, вставляю в речь татарские слова, чем часто вызываю у ребят недоумение или усмешку. Язык у нас, верно, одного корня, но многие слова, несмотря на их одинаковое звучание и схожесть, имеют разное значение. Например, мы чуть не подрались с Хакимом, когда я сказал однажды, провожая его на станцию: «Огурлár олсún». Оказалось, что по-узбекски я пожелал ему повстречаться с ворами, грабителями, а по-нашему, наоборот, это пожелание счастливого пути. Но я не обращаю внимания на подобные конфузы, упорно говорю по-узбекски, иначе, чувствую, никогда не научусь. И мои друзья, с кем мы ходим за дровами, уже понимают меня, переспрашивают редко,

а когда я не нахожу слов, терпеливо помогают, подсказывают.

Чаще всего, когда сидим у костра, я говорю про папу. Про его танк, у которого сорок колес и башня может вертеться во все стороны, поливая врага огнем пулеметов и пушки. Мои друзья никак не могут представить, как это может быть.

«Как же, — говорят они, — танк едет вперед, а стрелять может, целясь назад? Дорогу-то твой отец не видит! Он должен целиться во врага, верно? Вот на ишак-арбе едешь, можно повернуться назад, прицелиться из ружья и выстрелить. Потому что ишак, он глаза имеет, сам может идти вперед, выбирая дорогу, но танк ведь не ишак, у него небось руль, и его крутить надо. А потом, что, у твоего отца шесть рук и две головы, чтобы рулить, смотреть вперед, да еще стрелять из пулемета и пушки?»

Я объясняю, что в танке сидит не один мой папа, а с ним еще механик-водитель и стрелок. «Как же они умещаются там? — удивляются ребята. — Это же что твоя коробка из-под чая!»

Я отвечаю, что танк, он с целый дом: в нем и люди вмещаются, и боеприпасы, и еда...

Тогда возникает резонный вопрос: а откуда это мне известно? Ведь я не был на фронте.

Что верно, то верно. Но у мамы хранится восемнадцать папиных писем-треугольников. Мама часто достает их и перечитывает мне вслух. Из них я узнаю, что папа награжден орденом Красной Звезды, что они дважды горели в своей машине и что механик-водитель, который вначале водил папин танк, Михаил Колосков, погиб смертью храбрых. От папы теперь писем давно нет, мы не знаем, живой ли он...

После каждого такого разговора возле костра дружба наша становилась все крепче. Конечно же, не обходилось и без ссор, даже драк, но удивительного тут мало: какие бы заботы ни лежали на наших хрупких плечах, мы все же были мальчишками. А так в целом время проходило у нас довольно мирно и приятно.

Сегодня мне не повезло с самого начала. Тиллабай, который живет через двор от нас, заболел. Его всю ночь рвало, и теперь, когда я пришел, он лежал, по

глаза укрывшись одеялом сандала<sup>1</sup>, весь зеленый.

— Друг, я не смогу с тобой пойти,— сказал он слабым голосом.— Вот вчера съел что-то нехорошее, отравился. Ладно бы на голодный желудок рвало, а то я ведь вечером как раз большую косушку<sup>2</sup> вкусной гуджи<sup>3</sup> съел... Жалко ее!

Я кивнул.

— В обед Айше-апа опять заявится, желудок промывать. Вредная тетка, оказывается. Нет, говорит, положено промывать — промою, и все тут. А я на ногах уже стоять не могу, дрожат, в коленках вот ломаются...

— Ты уж лежи. Отдохни, раз такое дело. И Айше-апа слушайся, доктор ведь, ничего дурного тебе не сделает.

Тиллабай кивнул, проследил взглядом за матерью, которая, покончив в комнате с делами, вышла за дверь. Тогда он проворно схватил с тарелочки, стоявшей на сандале, горстку сушеного урюка и насыпал мне в карман.

— С хлебом поешь, очень вкусно.— Он опять устало откинулся на подушку.— Заходи, как освободишься, друг. А то одному знаешь как скучно. С матерью моей особо не разговоришься, сам знаешь.

Да, мать Тиллабая не отличалась словоохотливостью. А после того как пришла похоронка на мужа, она и не на каждое приветствие отвечает. Может, потому, что и от сына, старшего брата Тиллабая, давно нет писем, месяца три, если не больше...

Тиллабай, можно сказать, мой самый близкий друг. С ним мы сдружились сразу и ни разу еще не ссорились по-настоящему. Быть может, этому помогало наше близкое соседство, не знаю.

Ходить вместе за топливом предложил мне Тиллабай. Он же свел меня с другими ребятами. А однажды, когда меня остановили мальчишки соседней махалли и хотели поколотить, первым на помощь прибежал Тиллабай.

---

<sup>1</sup> С а н д а л — низкий квадратный столик, который ставится над углублением в земляном полу с горячими углями и сверху накрывается одеялом: служит для согревания рук и ног зимой.

<sup>2</sup> К о с а́ — глубокая чаша.

<sup>3</sup> Г у д ж а́ — жидкая похлебка, приготовленная из зерен сорго.

«Не трогайте мусофира<sup>1</sup>, дураки! Кто мусофира тронет, тот ослепнет, понимаете, ишаки лопоухие!»

Я направился к Рахиму. Но ведь известно: не повезет раз, так не будет везти до конца. Рахим сидел дома, не смея и носа высунуть на улицу. Сапоги надел старший брат. Его очередь подошла.

— Не могу же я идти босиком,— сказал Рахим, показав черные пятки.— Было бы потеплее, другое дело.

Да, еще несколько недель тому назад Рахим спокойно выбегал на улицу босиком и теми самыми черными пятками раскалывал даже лед, образовавшийся по краям луж.

Не мог составить мне компанию и Сатыбалды. Он отправился на станцию продавать кислое молоко.

Хоть и не тянуло совсем, все же я решил заглянуть к Ахмаду, по прозвищу Лис. Его мать почему-то недолюбливает меня. Постоянно велит сыну не знаться со мной. Что плохого я сделал, чему плохому мог научить ее сына, ума не приложу. Наоборот, от самого Ахмада такого можно набраться, ого! Не зря же ребята кишлака прозвали его Лисом!

Во двор я не стал заходить, позвал Ахмада, изменив голос. Но его мать все равно, кажется, узнала, тут же заорала на весь кишлак:

— Нету Ахмада дома, нету! Иди играй сам! — Потом раздался звук звонкой пощечины и приказ, такой громкий, что его было слышно за три версты: — Сиди на месте, говорят! Нашел себе друга!

Зло взяло меня, поднял с земли камень, хотел запустить в Лисий двор, потом раздумал. Связываться с гадами! Пошел прочь. И хорошо, что не пустили этого слюнтяя. Ныл бы всю дорогу, мол, холодно, проголодался, темно стало, еще и свой мешок заставил бы тащить. Знаем мы его лисьи штучки.

Я сам не смогу, что ли, дорогу в поле найти? Да я все здешние дороги уже как свои пять пальцев знаю. И уменья, и сноровки, и сил тоже не занимать! А без дров нам сегодня никак нельзя. Последний сноп гузапай вчера вечером сожгли. Утром печку не топили. Правда, маме обещали уголь отгрузить, да, говорят, на складе хоть

---

<sup>1</sup> М у с о ф и р — приезжий, человек на чужбине.

метлою мети, ведро пыли не наберешь. А когда привезут уголь, никто не знает. Может, сейчас уже разгружают вагоны, а может, и через месяц не будет. Так что, если я не позабочусь, сидеть нам сегодня в нетопленном доме, даже чаю не сможем вскипятить...

Вспаханная земля ближайших хлопковых полей буквально перебрана руками таких же мальчишек, как я, затоптана, исхожена вдоль и поперек, здесь трудно найти даже хворостину. Поэтому я шел все дальше, уверенный, что если не на этом поле, то на следующем обязательно найду целые залежи тюпчака. Так незаметно и добрался до окраинных колхозных полей, за которыми начиналась гористая, каменистая местность. Время перевалило за полдень. Залежей здесь, конечно, не оказалось, но набрать мешок, по всему, не составит труда.

Несмотря на сосущее чувство голода, я принялся за работу, и скоро у меня было уже полмешка корней. (А может, чуть больше или чуть меньше: сколько ты набрал, определяется, когда кучки, оставленные на грядках, ложатся в мешок.)

Сколько бы ни было, больше я не мог работать: голод прямо-таки скрутил меня, разогнуться не стало сил. Тогда я развел костер, сел возле него, постелив на землю мешок, съел, подогревая на огне, свою лепешку вместе с частью урюка, подаренного Тиллабаем.

Обед оказался славным. Я тотчас почувствовал прилив сил. Мороз заметно ослаб, проглянуло солнце. Костер весело пылал, обогревая мои натруженные ноги в худых кирзовых сапогах, грязные, ободранные, в цыпках руки, обветренное лицо. По всему телу разлилась приятная истома, вставать и рыскать по полю совсем не хотелось. Я накидал в костер десятка два сыроватых корней, чтобы подольше горели, и прилег, подложив под голову мешок. И не заметил, как уснул...

Когда я открыл глаза, солнца не было. Костер давно потух, небо затянули серые, низкие облака. Поднимался ветер, мотыльками гоняя над землей редкие, но крупные снежинки. Я знал, как быстро в это время сгущаются сумерки. Волоча за собой мешок, я лихорадочно забегал по полю, собирая оставленные на грядках кучки тюпчака...

Мороз усиливался, снег пошел гуще. Мешок был не-

полный, но я решил, что на сегодня и этого достаточно. Слабый дневной свет быстро меркнул и будил во мне беспокойство.

Закинув мешок за спину, я тронулся в обратный путь. Эти места мне незнакомы, но минут через десять — пятнадцать окажусь на том поле, где мы бывали с ребятами в последние дни. А там и до дому рукой подать.

Я сразу повеселел.

Вдруг передо мной возник сторбленный высокий старик, который махал руками над головой и громко стонал. У меня кровь заледенела в жилах, сердце бешено застучало. Что он, старик, делает в такую пору в поле? Почему так странно машет руками? Почему так жалобно стонет?

Боишься не боишься, а пройти мимо надо. Превозмогая страх, я заставил себя двинуться вперед. «Стариком» оказалось корявое тутовое дерево, «руками» — его голые ветки, а стонал ветер, встретив на пути неожиданную преграду.

Я с облегчением миновал тутовник, но страх, закравшийся в душу, уже не отпускал. Любой шорох, любой темнеющий предмет заставлял сжиматься сердце.

Вспомнилось, что люди говорили: за годы войны в округе развелось много волков, шакалов и диких кабанов. Кабаны водились, правда, в густых зарослях тугая за каналом, встреча с ними грозила лишь тому, кто вторгался в их владения. А вот от серых и шакалов прямо спасу не было: они налетали на жиденькую колхозную отару на пастбище, безбоязненно атаковали кишлаки, не гнушались никакой живностью, поедая даже своих сородичей — собак. Говорят, бывали случаи, когда волки стаскивали с сури — широких деревянных кроватей — спящих между родителями детей и уносили с собой. Опасаясь волков, люди, обычно спавшие летом во дворе под открытым небом, теперь укладывались спать на плоских крышах домов.

Осмелели и трусливые шакалы, которые, как правило, на людей не нападали. Говорили, они окружают свою жертву, особенно детей, и гонят до тех пор, пока она не упадет, а там, доведя щекоткой до бесчувствия, поедают.

Одним словом, встречи, будь то с волками или с шакалами, мне вовсе не хотелось. Они в любой миг могли

выскочить откуда угодно, может, уже давно и следуют за мной, так что надо прибавить шагу...

Я почувствовал, как у меня по спине побежали мурашки, занемел затылок. Чтобы избавиться от липучего страха, я заорал было во все горло песню, слышанную от Тиллабая: «Бог аро-о-о-о!» — но тут же осекся. Они будто того только и ждали. Едва я подал голос, со всех сторон вдруг послышались нетерпеливые повизгивания, протяжный вой, клацанье зубов. Шакалы!.. Выходит, они давно следовали, крались за мной, облизывались, роняя слюну через ощеренные пасти. До сих пор им что-то мешало, а теперь осмелели. Может, ждали наступления темноты, может, по голосу почувствовали мой страх — решили, что пора!

Песня Тиллабая, я знал, поется громко, во всю мочь, но так громко, как я ее сейчас пел, не исполнял, наверное, никто.

Только войду я в цветник,  
Увядают розы и бутоны!

Мне откликнулись злобные тьяканья, подвыванья, скулеж. Я припустил бегом. Звери, тесно окружив меня, понеслись рядом.

Через какое-то время, задыхаясь, мокрый от пота и страха, я остановился. Встали и они. Только тут я заметил, что бежал, не бросая мешка. Я разжал онемевшие пальцы, и груз мой глухо упал на землю. Я вдруг почувствовал невиданную легкость в теле, и главное — руки освободились. Ладно, с дровами придется расстаться. За ними я утром приду... Удивительно, как я не навернулся еще в темноте с этим мешком, ведь каково бежать по вспаханному полю, где и ходить-то нелегко... Упал бы, и конец. А теперь посмотрим, возьмете ли вы меня, стервятники!..

Я снял с пояса веревку, сложил втрое и, дико заревев, кинулся на маячившие впереди тени.

— Это вы хотите меня сожрать! — орал я. — Твари, трусливые вонючки! Ну-ка, подходите, посмотрим, кто кого!..

Шакалы нехотя расступились, пропуская меня. Я, размахивая веревкой, продолжал бежать. Но и они припустили, не отставая ни на шаг. Видно, знали, ока-



янные, что сила за ними. Вой их становился между тем все злобнее, нетерпеливее.

Я бегу, бегу, ничего не видя, не разбирая дороги, вращая над головой своим никчемным оружием. И вдруг нога куда-то проваливается, я падаю, ударяюсь головой обо что-то твердое и ничего уже не вижу, не слышу, не чувствую...

Не знаю, сколько я пробыл в беспамятстве. Открыв глаза, увидел столпившихся надо мной хищников, вонючих, гадких, тыкавших в меня холодными, мерзкими мордами.

Собрав все силы, какие у меня еще оставались, я закричал и вскочил на ноги. Это произошло так неожиданно, что шакалы растерянно метнулись в разные стороны. Я бросился бежать. Вдали уже мерцали огоньки кишлака, глухо доносился лай собак. Ах, если бы это сколько-нибудь встревожило этих наглых тварей! Они только перестали шуметь, бежали, окружив меня, легкие, упорные, бесшумные.

Я знал: если упаду еще раз — это все. Больше мне не подняться. Как глупо и жалко погибнуть, когда твой дом рядом! Хоть бы встретился кто-нибудь... Да разве в такую погоду, в такое время... Остается надеяться только на себя, на свои силы... А их у меня почти не осталось...

Но я все же выдержал эту бешеную, неравную гонку. Я вбежал в узкую, извилистую кишлачную улочку, и они отстали. Собаки, верно, почуяли шакалов — прямо-таки разрывались от лая, но на улицу не высывались, знали, чем это могло кончиться. Шакалы с ними не церемонились.

Шатаясь, я побрел к дому. Но страх не отступил. Теперь я боялся встречи с матерью.

К счастью, мама еще не вернулась. Света в окне не было. Я отпер дверь, вошел в дом. В комнате стояла холодина, почти как на улице.

Не раздеваясь, засветил копилку. И тут в комнату ворвалась мама.

— Сынок, где ты был? (Только теперь я заметил на

скамейке ее большую дерматиновую сумку, с которой она ходит на работу.) Я весь кишлак обегала, тебя искала!

— Мы на Культепé играли...— едва выговорил я.

— Какая же игра, сынок, до такого времени! Ты хоть немножко думаешь обо мне? Я ведь что только не передумала... Играл он, оказывается! А я-то надеялась, что ты по дрова отправился...

— Сегодня не пошли,— солгал я. Меня била дрожь, я боялся разговаривать, потому что мог расплакаться.

Мама пристально посмотрела на меня. Я отвернулся. Вид у меня, наверное, такой, что...

— А где мешок? Хотела у Мадамíновых угля немножко попросить, так мешка не нашла.

— Нашли у кого просить! — сказал я, вспомнив, как мать Ахмада накричала на меня утром. Как давно это было! — А мешок... Мешок я на урюк обменял. Вот. Очень урюка захотелось...

И я высыпал из кармана остатки урюка, что дал мне сегодня Тиллабай.

Мать горестно вздохнула:

— Молодец, сынок, деловой ты у меня растешь. Один мешок был у нас, и тот, значит, выгодно загнал... Ну что ж...

— Очень уж урюка захотелось...— опустил я виновато голову. И заметил, что веревки тоже на поясе нет. Ах да, я ее снял, еще там снял, на поле, и размахивал ею... Значит, уронил, когда упал и лежал без сознания.

Как я теперь объясню матери пропажу? Придется, наверное, еще раз соврать... Еще одна ложь, значит... Но не говорить же правду... Пусть лучше мама решит, что я и себялюбек, и безответственный, и почему-то не понимаю, как ей трудно. Пусть. Это все же лучше, чем если она узнает, что сегодня я вообще мог не вернуться домой.

Ни с мешком, ни с веревкой. Никогда. Этого она не должна знать. И так горя ей хватает.

Пройдет еще немного времени — тяжелый бархатный занавес медленно поползет вверх, и я, дорогой мой учитель, останусь лицом к лицу с темной бездной зала. Сегодня я буду играть Джульетту. Я видела эту великую драму в исполнении разных актеров — больших и малых. И всегда плакала, учитель, всегда... Вы это знаете.

Сегодня я буду играть Джульетту. Постараюсь вложить в свою роль все силы, всю любовь к прекрасному и доброму. Но я очень боюсь, места себе не нахожу от волнения. Вы же знаете, учитель, какая я трусиха и малодушный человек. Боюсь, что буду двигаться на сцене как деревянная, говорить холодными, тусклыми словами. Не знаю, что со мною станет, если провалюсь... Хоть головою в речку Салар.

Хожу за кулисами, маюсь. И именно в эти минуты взялась за письмо, которое давно собиралась написать. Простите меня, учитель, вначале я думала, что напишу тотчас, как закончу дипломную работу, потом отложила до премьеры. Пройдет, мол, благополучно — напишу, порадую вас. Но вот не выдержала, не дождалась собою же назначенного срока, села за письмо. Потому что всегда, когда мне трудно, одиноко, я тотчас вспоминаю вас, человека, который всю мою короткую жизнь делал мне только добро. Простите меня, мой дорогой. Я навек обязана вам за все, что вы для меня сделали. Я буду играть на сцене, отдавать всю себя искусству и знаю, что тем самым возвращаю свой святой долг. Хотя, я считаю, он неоплачен. Вы так любили искусство, особенно театр, а ничего не смогли в нем сделать. Уверена, вы стали бы великим актером, не будь этой проклятой войны, с которой вы вернулись инвалидом, и не будь всего того, что было потом, когда было уж не до театров... Простите меня, учитель, что бережу ваши старые раны.

Да, это верно: вы не смогли стать актером, но вы во сто крат счастливее многих-многих, которые называют себя так. Потому что вы передали мне свою любовь к искусству, к театру, послали меня вместо себя служить людям. Помните, вы всегда говорили, что нет выше счастья, чем служение людям — нести им прекрасное, прививать добро, честность, смелость? Разве могу я забыть

ваши заветы, мой дорогой учитель? Никогда, никогда...

Сейчас мне скажут: «Ваш выход!» Я выйду на сцену и буду играть Джульетту. Вы помните тот день, учитель, когда впервые слышали мой голос? Помните, как вы сказали: «Ты будешь артисткой!»

...Мы всегда играли возле чайханы, что стояла на развилке трех дорог: в Маргелан, Коканд и Чимион, — на Повороте, как говорили каттаюльцы. Мальчишки дождались, когда уйдет спать чайханщик (в знойный летний полдень все старались соснуть часок-другой), чтобы подчистить айвовое дерево.

Мальчишки играли в чехарду, да и я не теряла времени даром: влезла в арык, нашла плоский белый камень и стала стирать им, как мылом, свой шелковый голубой носовой платок. И тут появились вы. Черный, исхудалый, в выцветшей гимнастерке. Сели на сури у арыка, прислонили костыли к старому тутовнику, крикнули:

— Эй, бир чайчык берсе! Принеси чаю!

Недовольный чайханщик выглянул из дверей с тюфяком в руках, но, увидев вас, молча ушел обратно, а через минуту вынес чайник и пиалу. Поставил их на сури перед вами, шуганул ребят:

— А ну брысь отсюда! Хоть одну айву тронете — головы поотрываю!

Мне он ничего не сказал. То ли не заметил, то ли счел, что я не из той компании. Я продолжала стирать платок.

Когда я подняла голову, вы сидели все с тем же отрешенным видом, чай был не тронут. Ребята исчезли, не было на месте и ваших костылей. Я окликнула вас, но вы не ответили. И тут я поняла, что, хоть вы сидите в чайхане, на самом же деле находитесь далеко-далеко, возможно, в тех краях, где еще гуляет смерть и огненный смерч выжигает землю. Беспокойство охватило меня, какая-то сила погнала за чайхану. Я не ошиблась: потеха была в разгаре — мальчишки пытались ходить на ваших костылях. Падали, дергали костыли в разные стороны, старались отнять друг у друга, а потом принялись фехтовать ими...

Не помню, осознала ли я умом, какое кощунство они совершают, или просто сердце так подсказало: я закричала, сжала кулаки и накинулась на ребят. Я не подо-

зревала, что во мне столько сил: я раскидала их, как котят, одному расцарапала лицо, другому расквасила нос. Конечно, досталось и мне. Платье мое повисло лохмотьями, и потом мама еще долго ломала голову, во что меня одеть, но в те минуты я ни о чем не думала.

Мальчишки, видно, поняли, почему я затеяла драку, разбежались. А я принесла и тихонько прислонила костыли к стене.

— Зря это ты, доченька,— проговорили вы вдруг, словно очнувшись ото сна.— Они поиграли бы и принесли обратно. А ты вот осталась без платья. Оно у тебя единственное небось.

— Нет, что вы! У меня еще есть голубое шелковое платье! Недавно сшили,— соврала я, не моргнув глазом, выхватила из кармана недавно отстиранный платок.— Вот еще лоскут остался. А мальчишки вовсе не играть взяли ваши костыли. У них ведь тоже у каждого кто-нибудь на войне. Вот они и взяли костыли, чтобы понюхать, не пахнут ли они фронтом.

Я не хотела, чтобы вы плохо подумали об этих мальчишках, я расписывала, какие они забавные, хорошие, изображала их в лицах — словом, делала все, чтобы вы поверили мне.

Вы внимательно слушали меня, ваше лицо постепенно оживлялось, в глазах зажегся огонек, губы тронула улыбка. Вы спросили, чья я дочь.

— Фетты Аліма,— ответила я.

— Из какой деревни?

— Из Коккóза.

— Знал я твоего отца,— тяжело вздохнули вы.— Я-то хоть калекой, но вернулся, а они...— Помолчали, потом стукнули по сури так, что крышка чайника подпрыгнула с жалобным звоном.— Жизнь продолжается, черт подери! Много людей мы потеряли, но дети их живы! И будут жить! И принесут еще славу и честь своему народу. А я-то, старый дурак, решил было, что все кончено, не подняться нам более на ноги...— Вы взяли меня за плечи, заглянули глубоко-глубоко в глаза: — У тебя дар, дочка, ты будешь артисткой. И клянусь честью старого солдата, я помогу тебе, чего бы это мне ни стоило. Ради памяти твоего отца и всех тех, кто покоится в солдатских могилах... Ты станешь артисткой.

Вскоре вы стали руководить драмкружком в нашей школе. Я поражалась вашей настойчивости, вашему такту, умению заглянуть в душу. И вы стали примером для меня на всю жизнь...

В десятом классе я училась, когда умерла мама. Одна осталась на всем белом свете. Теперь я должна была подумать, как прокормить себя, а школу, конечно, бросить. Но вы уговорили меня не делать этого.

— Век нынче такой — без образования никуда, — сказали вы. — А тебе, дочка, тем более надо учиться. Думаю, проживем как-нибудь. Перебирайся в мой дом, будешь жить у меня.

Нет, выходит, ошиблась я, думая, что осталась одна-одинешенька на всем белом свете. Еще я корю себя за то, что так и не назвала вас отцом. Поныне зову оджа — учитель.

Вы потратили все сбережения, отвезли меня в Ташкент, в театральный институт, целый месяц были рядом со мной. Если бы не вы, я наверняка вернулась обратно вся в слезах. Кому-то я там, видно, не понравилась, хотя сдавала все на «отлично». Тогда вы вошли в кабинет, где заседала приемная комиссия, швырнули костыли на стол.

— Эти деревяшки — мои ноги, — заявили вы, — а свои я оставил на поле боя, чтобы наши дети не знали горя. Учились, развивали свои способности. Чем не приглянулась вам моя дочь? Цветом глаз, походкой или голосом? А может быть, речью? Прошу объяснить.

Как мы радовались в тот день, оджам, когда меня зачислили, как ярко и счастливо светило над нами солнце!

И вот теперь стою за кулисами, волнуясь, жду...

Меня уже зовут! Я иду, учитель, иду играть Джульетту! Прощайте! И не беспокойтесь, я сыграю свою роль как полагается. Потому что ее мы будем играть вдвоем — вы и я. А вместе с вами разве я провалюсь? Нет, никогда!

Вот уже неделя, как небо затянуто черными тучами. Морозный жгучий ветер перегоняет с места на место снежные сугробы. Автобусы, троллейбусы, трамваи обледенели, обвесились сосульками, стекла затянуты плотным матовым слоем инея, снежной примерзшей шапкой обросли крыши, над колесами тоже до самой земли ледяные желто-грязные наросты. Машины старательно воют, тужатся, но двигаются с мучительной медлительностью, то и дело буксуют на раскатанной дороге, образуют заторы. И сразу возникает нервный разноголосый хор автомобильных сигналов. Все спешат в тепло, домой, даже машины, хотя такой же мороз ожидает их в гаражах. Вороны сидят — нахохлившись, недовольные — на голых ветвях деревьев одинокими черными кляксами. С тоскою глядят они на дымы, ползущие из печных труб, иногда нехотя снимаются с места и летят, издавая гортанные печальные крики. Взъерошенные воробьи и исхудалые горлинки жмутся к стенам домов, летают под окнами, точно умоляя людей поделиться с ними толикой тепла и пищи.

Невиданная зима стояла в Ташкенте, такую даже не всякий старожил припомнит.

Раим, выйдя на школьный двор, поднял воротник ветхого пальтишка, зажал сумку под мышкой, а озябшие тотчас руки сунул глубоко в карманы и, отворачивая лицо от колючего ветра, медленно пошел краем тротуара, где не было наледи.

Несмотря на мороз, на голод, который напоминал о себе глухим урчанием в желудке, мальчик не спешил домой, не бежал, как все другие люди, оказавшиеся сейчас на улице. Наоборот, он всячески оттягивал время, осторожно, не спеша обходил сугробы, обкатанные множеством подошв замерзшие лужи, иногда останавливался, провожал машины долгим взглядом. Замерз он, конечно, замерз, еще как! Он ведь тоже человек, тоже нуждается в домашнем тепле. Но он знал, что в жарко натопленном доме ему будет хуже.

Мама, наверное, уже на работе, в это время у нее начинается смена на текстильном комбинате, дома братишки-близнецы, Рашид с Руфáтом. И с ними отчим,

пьяный с утра, вечно хмурый, злой и угрюмый, с красным бугристым лицом, всклокоченными волосами, в постоянной своей красной майке. Лежит на диване, уткнув рожу к стене, нет-нет да потянется к чайнику, стоящему на краю стола, отопьет, громко булькая, несколько глотков остывшего чая, посмотрит чужими глазами на мальчишек, смирно, без смеха и ссор играющих на полу, опять отвернется.

Если Раим дома, отчим непременно найдет повод прицепиться, начнет кричать, распаляя себя, или пустит в ход свои жесткие, пропахшие битумом руки. Близнецов он еще кое-как терпит, но и те запуганы до крайности, редко когда вылезают при отце из своего угла, редко говорят в полный голос. О беготне и резвых скачках, без которых обычно никак не обходятся мальчишки, и думать нечего.

Раим хорошо знает их игры — сам научил: бесшумно катают на трехколесной машине (одно колесо выпало и потерялось) маленьких тряпичных куколок, разнообразных глиняных зверюшек (их Раим сам сшил и вылепил), выстраивают картонные пирамидки (брат склеил), играют в перья (Раим подарил). Бывает, смеются они тихонечко или даже сцепятся, молча, без зла, но едва зашевелится, что-то бормоча, отец, тут же замирают, жмутся друг к дружке, глядят испуганно на грозу семейства... Они малы еще, трех лет не исполнилось, но знают, как тяжела и безжалостна отцова рука, как скоро она на расправу.

Близнецы — сводные братья Раима, но это не помеха их любви и дружбе. Раим, оставаясь с младшенькими один, нянчит их — сажает на горшок, кормит, поит, укладывает спать, играет с ними, мастерит всякие игрушки, катает на спине.

— И-иго-го-го-о! — ржет он и начинает частить голосом радиокомментатора: — Взгляните налево, уважаемый раис-ака, это хлопковые поля вашего колхоза простираются до самого синего горизонта! Тучные стада коров, отары овец и коз, табуны лошадей, пасущиеся на пастбищах справа, тоже ваши! Продолжаем наш стремительный бег, и-и-го-го-го-о!

— Теперь я, теперь я раисом буду! — пристаёт Руфат.



Раим ссаживает Рашида, становится на четвереньки.

— Тп-р-ру, чакал<sup>1</sup> Раим,— командует он сам себе,— стой спокойно, теперь тебя оседлает Руфат-маленький, его очередь! Вот так, пое-ехали, раис-ака. Сказочный крылатый конь взмывает выше облаков, несется со скоростью тысяча километров в час, обгоняет на своем пути свой собственный звук! Берегись!

Едва отчим переступает порог, звонкий смех, веселые голоса вмиг утихают, игры поспешно свертываются. Когда возвращается домой, нагрузившись по самую завязку, отец особо не пристает к детям, не орет, бухается, не раздевшись и не разувшись, на диван и тут же засыпает. А уж коль недопил, света белого невзвидишь.

— Чтоб ни звука, вы, дармоеды, головы поотрываю! — цыкает он.— Сидеть смирна! Я устал, понятна? — орет, вставляя русские слова.— Днем и ночью покоя не знаю, вкалываю, чтобы набить ваши ненасытные утробы, ясно? Знаете ли вы, паразиты, в вашем возрасте я домой мешками кизяки носил... да, кизяки... Вы знаете, что это такое? То-то и оно! Не знаете. Как вы помогаете мне, своему родителю? Вот ты, который по имени Раим, ты уже вполне того-сь, не сегодня завтра жениться захочешь, ты чего умеешь делать? Какую пользу я вижу от тебя? С малыми играть и дурак сможет... Одно развлечение... А попытался ли ты разок хоть копеечку горбом своим заработать? Все у тебя на уме игры да книжонки, точно деды-прадеды твои профессорами были, ишанами... Не знаешь, каково прокормить вас, одеть-обуть, и знать не желаешь...

— Спи давай, чего пристал к ребенку? — заступается за сына мать, Раиме-апте, если, конечно, она дома. (Покойный Осман очень хотел дочку и собирался назвать ее именем жены, а когда, вопреки ожиданиям, родился мальчик, назвал его Раимом, тоже в ее честь.) — Мало, думаешь, он с твоими детьми занимается? Может, ты такой богатеи, что наймешь для них специальную няньку? Не обижай зря сироту, не то ослепнешь!

— Во-во-во, защищай своего щенка, кидайся на меня, как бешеная собака! Придет день, он нам в ножки поклонится. Спасибо скажет! У-у-у, знаю я этих сирот:

---

<sup>1</sup> Ч а к а л — гнедой.

вырастет, на ноги встанет — хуже нас людей для него не будет!

Раиме-апте уходит на кухню и там плачет молча, скрывая от детей горючие слезы, отчим же доволен — допек-таки всех, — долго пьет из-под крана воду, потом зарывается головой под подушку и, удовлетворенный, засыпает.

Раим забивается в уголок в коридоре, где стоит маленький стульчик, на который садятся братишки, когда разуваятся или обуваятся, молчит с окаменелым лицом, глядя немигающими большими глазами в одну точку. Ему хочется плакать, очень хочется, все его существо обливается слезами, а поди ты, из глаз ни слезинки не упадет! «Да он же бездушный, не сердце у него — камень!» — орет иногда отчим. Раим сам не поймет, почему так получается. Может, именно потому, что отчим хочет видеть его слезы, увидеть его жалким, униженным, а Раим не может, не желает доставить ему это удовольствие.

«За что мне эти мучения? — думает Раим, сидя на стульчике. — Кому что плохого я сделал, отчего меня так унижают? Почему отчим ненавидит меня, а мама не может защитить? Разве отец допустил бы такое? И я бы гулял, как все, веселился, в кружки ходил, учился и горя не знал. И никто бы не попрекал куском. Я ведь пытался устроиться на работу — везде смеются, говорят, слишком мал еще. В двенадцать, мол, учиться надо, такой, говорят, закон существует, и его нельзя нарушать. Да, ну а если у меня нет другого выхода?»

Раим напряженно вглядывается в темноту, пытается представить отца, его лицо с жесткой колючей щетиной, его негромкий ласковый голос, его большие сильные руки, которыми он подбрасывал сына под самые небеса... Но ничего не получается — облик отца, едва-едва наметившись, ускользает, расплывается во мраке...

Когда погиб отец, Раиму было около полутора лет. Отца представляет лишь по рассказам мамы и по фотографиям.

Отец Раима был шофером, водил большую, длинную машину, рефрижератор. В таких автомобилях с холодильником возят на дальние расстояния всякие продукты — мясо, молоко, масло, сыры, колбасы. Отец уезжал с полной машиной в горные кишлаки (там шахта начала

работать, где золото добывают), а обратно вез фрукты, овощи для ташкентцев. В один из этих рейсов и случилась авария. На крутой горной дороге лопнул баллон заднего колеса, машину занесло, и она повисла над пропастью. Самое верное было — выпрыгнуть из кабины, и никто бы не обвинил отца, но он до последнего бился, пытаясь спасти машину и продукты...

Вдоль всей дороги горестно ревели автомобили, когда везли хоронить останки Раимова отца, и с того дня все начали называть мальчика сиротой...

Раим, увидев приближающийся к остановке трамвай, побежал мелкими шажками. Спешить домой — не спешишь, но «семерку» упустить нельзя. Очень уж она редко ходит. Будто из милости. Захочет, вообще может не появиться. А в Старый город, где Раим живет, другим транспортом не добраться.

Кроме того, Раим и так продрог до костей, ждать на остановке он никак не сможет, а пешком идти — часов в девять будет дома...

Раим бросил в кассу три копейки, оторвал билет, прошел в полупустой салон, сел к окошку и, оттаяв на стекле кружок, стал смотреть наружу.

Там уже властвовала тьма. «Быстро как, — подумал мальчик. — Только что было светло... Как я не люблю за это зиму... Зачем только она нужна? Ведь есть же страны, где никогда не бывает зимы... Вот, верно, счастливые люди живут там... Не мерзнут, не болеют, круглый год раздетые ходят... А тут... Глаза бы не глядели на эту зиму проклятую...»

В мальчике уже не день, не два назревало глухое озлобление на жизнь, на людей, на всех, кто его окружал...

Раиму пошел шестой год, когда в доме появился отчим. Тихий, смирный, с самодельным фанерным чемоданом. Раим принял его спокойно — уже многое понимал. Его пытались научить звать отчима папой, но он не мог. Отца родного мальчик, конечно, не помнил, но уже свыкся с мыслью, что он у него был и погиб. (На стене его комнаты всегда висело папино фото.)

Раим не чувствовал к отчиму ни отвращения, ни

любви — бывает же так: надо терпеть в доме присутствие постороннего человека, — он терпел, на большее его не хватало. Отчим чувствовал это отношение к себе, но виду не подавал, был ровен, сдержан, даже ласков и внимателен в меру: раза два сводил мальчика на Комсомольское озеро, катал на колесе обозрения и детском поезде, приносил в кулечках конфеты. Но делал все это равнодушно, без радости, как если бы выполнял мероприятие для «галочки». Будь он искренним, добивайся расположения мальчика от души, может, и оттаяло бы сердце сироты, потянулся бы он к отчиму, назвал папой.

Но не тут-то было. После года мирной жизни в новой семье пошли нелады: Хариз — так звали отчима — начал поколачивать жену (видите ли, он хотел детей, а Раиме почему-то не рожала). Это, разумеется, тотчас сказалось на мальчике...

После каждого скандала, свидетелем которого он был, Раим подолгу мечтал, представляя, как он вырастет и защитит маму от кулаков отчима. А Хариз, который к тому времени уже освоился на свободе (фанерный самодельный чемодан!), устроился грузчиком в мясной лавке и стал огребать какими-то одному ему известными способами хорошую деньгу. Он рос, так сказать, прямо на глазах: получил должность продавца в той лавке, а еще через два года — заведующего. И пошло-поехало! И словом ему не перечь, один он умный, один такой хороший. Как говорится, глаза жиром заплыли, забыл, что в трудовом государстве живет, что лавочка та не его собственность, — грянула ревизия, подключился ОБХСС, и дело запахло судом.

Насилу спасся Хариз, продав все вещи, что сам принес в дом, и все то, что было нажито до его счастливого появления в этом доме. Как бы то ни было, тюрьмы повторной он избежал, но работу потерял (ему вообще запретили на пушечный выстрел приближаться к торговле) и семью оставил почти нагишом.

(К тому времени уже двойняшки родились. Оказалось, что вовсе не Раиме была виновата — у нее сын Раим рос, еще какое доказательство! — а сам Хариз, у которого врачи обнаружили какую-то застарелую болезнь.) Раиме знала теперь, что ошиблась, но сил ее не хватало взять да разрушить все — пусть плохое, худое, но уже постро-

енное. Терпела, как говорится, горе в сердце спрятав...

Хариз поступил в дорожное управление чернорабочим, укладывал где-то асфальт и в бедах своих винил всех людей, но не себя, топил горе в вине, вымещал зло на ближних, даже на своих сыновьях, рождения которых, казалось, дождался с таким трудом...

Погруженный в мысли, Раим не заметил, как доехал до своей остановки. Он выскочил в последний момент, когда трамвай уже трогался, поскользнулся на обледенелой площадке, упал, неловко подвернув под себя правую ногу. Острая боль рванула щиколотку. Видно, растянул сухожилие.

Мальчик какое-то время стоял, крепко сжав зубы, борясь с неожиданно поднявшейся тошнотой, потом тихонько двинулся, крепко припадая на левую ногу. «Кажется, запоздал я сегодня очень, — думал он невесело, — опять накинется отчим, если не спит без задних ног. Ему не угодишь. Вернешься вовремя — скажет: «Чего приперся так рано, с уроков сбежал, что ли?» Задержишься — опять плохо: «Дармоед, он и есть дармоед, чего ему спешить домой, постараться помочь в чем-то родителям!»

Сегодня Раим при всем желании не мог уйти домой сразу после уроков. Два года тому назад его выбрали редактором стенной газеты. Он хорошо писал шрифты и рисовал, а при нужде горазд был сочинить и стишок, и заметку. К нему, конечно, и помощников подверстали под громким названием «редколлегия» — пять человек, которые, по правде сказать, на другой же день после сбора забыли о вмененных им обязанностях. С тех пор Раим сам оформлял газету под боевитым названием «За отличную учебу!». Материалы, рисунки он готовил загодя, исподволь, с ними затруднений не испытывал, главные сложности начинались тогда, когда газету уже надо было переводить на чистый лист бумаги.

Во-первых, не было ватмана (в школе он всегда был дефицитом). Во-вторых — цветных карандашей, красок, клея. Просить, одалживать у ребят Раим не любил, а у него лишних копеек не водилось, приходилось тратить ту скудную мелочь, которую мама давала на школьные завтраки. Это бы еще полбеда, Раим привык ущемлять себя в необходимом, даже в еде, и не очень от того страдал. Вся беда была в том, что он не мог взять газету

домой, чтобы в спокойной обстановке все сделать, как хочется, потом принести в класс готовую и повесить, — боялся отчима.

Сегодня Раим закончил работу над этой «За отличную учебу!» и сильно запоздал домой. А другого выхода у него не было. Все другие классы уже вывесили газеты, а они, вернее, он, Раим, все тянул, тянул...

Прежде чем свернуть в проулок, в котором ютился их небольшой, из двух комнат, домик, Раим должен был пройти мимо длинного приземистого строения. Старая чайхана находилась в аварийном состоянии и в эту зимнюю пору не работала. Снежные сугробы вокруг нее выросли чуть ли не до крыши. Под навесом входных дверей валялась груда почерневших ящиков. Раим как раз поравнялся с ними, когда вдруг услышал жалобный, тихий стон. Он решил, что ему почудилось, продолжил было путь, но стон повторился. Слабый, жалобный, молящий. Он доносился как будто из-под тех самых ящиков.

Раим, прихрамывая и утопая по колено в снегу, пошел на голос. Стон прекратился, и Раиму показалось, что он ошибся, ищет совсем не там. Но тут опять донесся жалобный скулеж. Сомнений не осталось: кто-то там, под ящиками, умирал и, умирая, из последних сил призывал на помощь.

Наконец Раим вступил на твердую землю под навесом. Сюда падал свет от ближайшего фонаря на столбе. На голой земле, придавленный упавшими ящиками, лежал черный, с белыми подпалинами щенок. Передние лапки его были бессильно раздвинуты в стороны, голова лежала между ними, а два черных глаза не мигая смотрели на Раима. В них мальчик прочитал боль и страх, мольбу и надежду.

Поспешно бросив сумку на землю, Раим осторожно убрал ящики, взял щенка на руки. Тот слабо тявкнул и, всхлипывая, весь дрожа, прильнул слабым тельцем к своему спасителю.

— Тебя мама бросила? — шептал мальчик, расстегивая пуговицы пальто. — Может, с ней несчастье случилось, а, малыш? Видишь, какой город? Тебе не очень больно? Потерпи, бедненький, я тебе помогу. Вижу, вижу, ты замерз совсем, ооченел...

Раим упрятал щенка за пазуху и, чтобы он не выпал,



подпоясал пальто шарфом. Потом поднял с земли сумку и направился домой. Боль в ноге не проходила, но мальчик уже не обращал на нее внимания.

В дом Раим вошел на цыпочках — боялся разбудить отчима. И так грядет, наверное, скандал, а если увидит щенка — весь дом разнесет. «Подержу у себя несколько дней, — думал Раим. — Наберется щенок сил, поправится, тогда отдам кому из ребят. С радостью возьмет любой».

В их классе учились в основном дети из Старого города, где у всех собственные дома с небольшим двориком, и собака там не помеха, а хороший помощник.

Едва ступив в коридор, мальчик столкнулся лицом к лицу с мамой. Вид у нее был измученный, голова повязана свитым в жгут красным платком. Значит, опять мигрень и мама не пошла на работу.

— Где ты пропадаешь? — тоскливо спросила она. — Я уж и не знала, что подумать... — Мама вдруг насторожилась, глядя на оттопыренное пальто сына. — Что это у тебя там?

— Это... щенок. — Раим улыбнулся.

— Щенок? — Мама испуганно оглянулась на дверь комнаты. — Откуда он?

— На улице подобрал... Еле живого.

— Нам только его не хватало! — горестно всплеснула мама руками. — Тащишь домой всякую нечисть. Дети могут заразиться, совсем не думаешь...

— Да не больной он, мама. Вот сама увидишь. Просто от голода и холода такой. Пожалел я, взял. Потом... потом отдам ребятам, вот поправится малость, любой возьмет.

— Ладно, что уж... — Мама посторонилась, пропуская сына. — Отнеси в закуток, не то увидит отец — вышвырнет вон.

— Вначале его надо накормить, мам. Он совсем голодный. Хорошо бы молочком...

— «Молочком»! — недовольно передразнила мама. — Ты думаешь, молочко из водопроводного крана течет...

Но все же пошла на кухню. Раим опустил щенка на пол, вытер его мокрые лапки и мордочку сухой чистой тряпкой. Но едва мальчик разжал пальцы, щенок бес-



сильно повалился на бок, закрыл глазки. Раиме-апте поставила перед ним на пол консервную банку с чуть подогретым молоком. Хотела было отойти, но задержалась, присела на корточки, погладила безжизненно вытянувшееся тельце щенка. На глаза ее неожиданно вернулись слезы.

— Мертвый почти, бедняжка... — прошептала она. — Эй, алла, какие только черные сердца ты не порождаешь!.. Ведь это почти что тот же ребенок... безвинный ребенок, как можно было взять да выбросить его на улицу, на мороз, слабого, беззащитного, голодного?!

Раиме-апте подняла щенка и, держа его на руке, начала поить с ложечки молоком. Занятые делом, мать и сын не заметили, как на пороге возник Хариз, помятый, взлохмаченный, с красными глазами.

Он какое-то время молча стоял, покачиваясь, глядел на жену и пасынка и никак не мог понять, чем они там занимаются на полу. Потом сделал несколько шагов вперед, пригнулся, заглядывая через плечо жены.

Раиме-апте, не оглядываясь, учуяла запах водочного перегара, вскочила на ноги. Консервная банка опрокинулась, молоко длинным белым языком вытянулось по полу. Испугался и Раим, но он успел подхватить щенка на руки, прижать к груди и теперь глядел на отжима снизу вверх, не мигая.

— Думаю, чего они там шебуршат, а наши эфенди<sup>1</sup>, оказывается, уличного доходягу молочком поят! — прокричал Хариз весело, почти даже радостно, только непонятно было, чему он веселился-радовался, тому ли, что эфенди поили доходягу молочком, или тому, что наконец-то нашел к чему прицепиться. — Молодцы, жалостливые друзья животных! Маладес, спасатель паршивых и занюханных божьих тварей! — Он безобразно скривился, глянул прямо в глаза Раима. — Значит, по вашей воле, милейший бей, в доме появился еще один дармоед, так я понимаю? Отвечай! — взревел он вдруг без всякого перехода. — Не хватало мне двуногих нахлебников, так он мне еще четырехногого удружил!

С последними словами Хариз со всего маха саданул ногой по консервной банке. Она с грохотом ударилась о

---

<sup>1</sup> Э ф е н д и — господин.

стенку, расплющилась и отлетела куда-то под стол, обрызгав остатками молока лицо Раима.

— Быстра долой этого паразита! Чтоб глаза мои не видели, а то башку оторву!

— Успокойся, — примирительно сказала Раиме-апте. — Ничего страшного не случилось. Накормит Раим его сейчас и отнесет к товарищу. Так мы и решили с ним, верно, сынок?

Хариз не дал мальчику ответить. Вернее, тот и не собирался подхватить ложку матери. Еще что!

— Как накормит? — завопил Хариз. — Не хватает только всех бродячих псов нам подбирать и кормить! Богадельня у нас, как же! Разве нам это трудно? Да раз плюнуть. Ведь это не мы вкалываем, как ишаки, не мы грызу наживаем! Но не-ет, такой фокус не пройдет! Пусть сейчас, сию минуту уносит твой сынуля эту погань! Куда хочет, туда пусть и деваает. Иначе сам вышвырну в окно.

Раим всегда покорно и беспрекословно выполнял все требования отчима. Но сейчас он никак не мог согласиться с бездушием и злобой отчима.

И Раим восстал.

— Щенок голоден и совсем без сил... — тихо сказал он. — Сейчас нельзя его никуда нести.

— Что-о, что ты сказал?! Ну-ка повтори, кладезь ума и учтивости, я вроде плохо расслышал... Ты уже научился перечить старшим, собака, сын собаки?

Раиме-апте поспешно встала между мужем и сыном:

— Где же он тебе перечит, муж? Верно, Раим, сынок, ты ведь и не думал перечить? Сказал же, утром отнесет кому-нибудь...

— Нет, ты слышала речи этого мерзавца? Я его кормлю, пою, одеваю, обуваю, образование даю, как порядочному, а он же плюет мне в лицо. Говорил я всегда, от сироты не жди добра! Вот теперь его благодарность!

Хариз картинно выбросил одну руку в сторону, а другую занес, чтобы подзатыльником пройтись по шее пасынка. Раиме повисла на ней:

— Опомнись!

Но не слабая попытка женщины остановила кулак Хариза — сил у него было достаточно, чтобы одним легким движением смахнуть жену, — его остановили гла-

за, большие, немигающие глаза мальчика, полные презрения и еще какой-то непонятной силы.

Прижимая щенка к груди, Раим шагнул к отчиму.

— Вы можете меня ударить, — сказал он дрожащим, но не от страха — от нервного напряжения голосом. — Можете даже избить до смерти, на это у вас сил хватит. Но что бы вы со мной ни сделали, я не выброшу щенка на улицу. Вы хотите убить его моими руками, так знайте, это вам не удастся.

Хариз, казалось, вдруг протрезвел от этих слов, он глядел на мальчика широко раскрытыми глазами, словно удивляясь, откуда в этом хиленьком, тщедушном существе столько смелости и прямооты. А Раим теперь не мог остановиться.

— Для вас все едино, что животное, что человек. Для вас даже ваши собственные дети — просто дармоеды, бездонная прорва. Я теперь знаю, что вам надо: вы хотите, чтобы все были такими же, как вы. Тогда бы вам было хорошо. Вот если я сейчас вышвырну на мороз этого несчастного щенка и он там погибнет, вы были бы очень рады. Потому что я стал бы таким же, как вы. Совесть и руки мои были бы испачканы. Но вам этого никогда не видеть.

Хариз помолчал, кусая губы, сжимая и разжимая кулаки, потом вдруг расхохотался, подняв лицо к потолку. Острый кадык его противно скакал вверх-вниз.

— Ты погляди, какой у нас прокурор вырос, а?! Не зря, не зря, видеть, кормили его! Здорово подкованный вырос. Даже идеологию подвел под свои слова, а, не отвертись. Ну-у мастак! Не зря мы тебя, выходит, учили. Пришло, видеть, время родителям жить так, как велят ученые дети. Не то родители сами в подлецов превратятся и детей своих негодьями сделают. Ты слышала, что он говорил, жена, слышала? — Хариз умолк на миг, вобрал в легкие побольше воздуха и вдруг рывкнул во всю глотку: — Стань смирр-на, пес! Так тебя учат в советской школе разговаривать со старшими? Тебя там учат плевать в лицо родителям, обвинять их в гадостях и хулить?!

— Нет. В школе нас учат быть добрыми, справедливыми. Чтоб и малому и старому, и родным и чужим — всем всегда говорили правду.

— Понятно,— вдруг успокоенно, даже несколько облегченно произнес отчим.— Хорошо, пусть ты прав. Я плохой. Согласен. А ты хороший. Скажи только, когда ты начнешь жить, согласуя свои слова с поступками? У таких правдолюбов, как ты, слова не должны расходиться с делом. Когда ты возьмешь с собой эту пададь и сгинешь с моих глаз?

Раим промолчал, только бросил на маму быстрый короткий взгляд.

— Ну, хватит, стоит из-за чепухи так распаляться...— начала Раиме-апте миролюбиво, но Хариз не дал ей договорить:

— Чепухи, говоришь? Да ты его еще защищаешь после всего, что он тут наплел? — Хариз оттер жену локтем в сторону, подался всем корпусом к Раиму.— Ну, трибун-болтун, долго еще ждать тебя?

— Сейчас, соберу только книги...

Мальчик не взглянул на маму, сгорбился и, прихрамывая, направился в большую комнату. Едва ступив за порог, он будто натолкнулся на штыки — две пары черных, расширенных от ужаса глаз.

Близнецы забились в уголок и, дрожа, глядели на брата.

— Ага...— прошептал Руфат.

— Брат! — повторил Рашид, бросаясь к Раиму.

За ним следом подбежал и Руфат, обвинил ручонками ноги брата.

— Ага, не уходи!

— Брат, если уйдешь, возьми и нас с собой!

Раим протянул Рашиду щенка, а сам расстелил на полу мамин клетчатый платок, стал укладывать на него учебники аккуратной стопкой.

Близнецы ревели в голос. В дверь просунулся Хариз.

— А ну молчать, свиньи! Марш на место!

Обычно после такого приказа малыши поспешно удалялись в свой уголок. Но на этот раз они словно и не слышали грозного окрика.

— Кому сказано? Ма-арш!

Мальчики попятились в угол, продолжая реветь и с опаской поглядывая на большие корявые руки отца. И тут в комнату вбежала мать, отпихнув Хариза в сторону. Она была бледна как мел:

— Стойте, балларым<sup>1</sup>, стойте... — Затем повернула гневное лицо к мужу. — Ты понимаешь, что делаешь? Чему ты учишь детей? «Марш на место!» Они тебе что, собаки? Думала, ты так ненавидишь Раима потому, что он чужой тебе, вынужден жить с тобой под одной крышей, есть твой хлеб, но ты же и своих кровных ненавидишь! Что ты за человек? Ты уже всех нас почти с ума свел!

— А-а, вот как ты заговорила! — торжествующе осклабился Хариз. — Может, я вообще тут уже лишний?

Раиме-анте не ответила, начала не спеша ставить книги Раима обратно на полку.

— Иди, Раим, сынок, вымой руки, садись ужинать. Щенку я сама приготовлю место.

Рашид и Руфат, взбодренные присутствием матери, поглаживали щенка, нет-нет да взглядывая на отца.

— Выходит, я тут больше не нужен? — произнес Хариз с угрозой.

— Ты это уже сам решил...

— Да, решил. Я или он. В моем доме собаке не место.

— Не забывай, мой милый, это не твой дом, а мой. Мы его с отцом Раима — земля ему пухом! — по кирпичику выкладывали. Ночей не спали, недоедали... строили с надеждой, что не собаки в нем, а люди будут жить. Ты совершенно прав. Собаке здесь не место.

Хариз хотел было шагнуть к жене, но, взглянув в ее лицо, понял, что нельзя к ней подходить, опасно. Рядом еще и этот волчонок. Откуда только такие берутся?!

— Хорошо, я уйду. Только смотри не пожалей потом.

— Жалеть мне уже нечего. Теперь твой черед. Уходи и не возвращайся. Это все.

Хариз резко повернулся, вышел в коридор, пошебуршил там, потом грохнул дверь — ушел.

В комнате царила тишина.

— Давайте, дети, готовить щенку место, — очнулась наконец мама и окинула сыновей посветлевшим взором.

— А как мы его назовем, мама? — спросил Рашид.

— Мы ему найдем хорошее имя, сын мой. Придет время, и он вырастет большим, сильным и храбрым псом. Он будет вашим верным другом.

---

<sup>1</sup> Балларым — дети мои.

Вчетвером они устроили в комнате лежанку, уложили на нее спящего щенка. Он уже не дрожал.

А на улице все еще свирепствовал буря.

1972

## ПОДБОРЩИК

Дадабай спал на широкой деревянной кровати с высокими ножками — сури. Угол пашахань, марлевого полога от комаров, пламенел золотом — его коснулись первые лучи сентябрьского солнца.

Разбудили Дадабая какие-то странные звуки. Зябко поевившись, он поплотнее укутался одеялом — ночью резко похолодало. Дадабай, надо сказать, зябнул всегда, даже в июле, на самом солнцепеке.

Отец, конечно, давно в правлении, мама возится на кухне, готовит Дадабаю и бабушке завтрак. Потом, разбудив их, тоже убежит на работу — в детский садик.

Где-то рядом опять засипело. Ах, так ведь это репродуктор! Такие штуки висят по всем дворам, и никто их не выключает. Потому что колхозный радиоузел то и дело сообщения делает. Ведь понятно — страда.

«Послушаем, послушаем, как идут наши дела», — подумал Дадабай. Он очень любил своего папу, председателя колхоза, живо интересовался жизнью хозяйства, считал, что он тоже участвует в его сложной и трудной работе. И прозвище-то «Дадамой» — «мой папа» он получил потому, что не упускал ни одного случая, чтобы не вставить: «А вот мой папа...»

Мальчику нравилось проявлять себя рачительным хозяином. Увидит грузовик с невыключенным мотором, сунется в кабину, вынет ключи от зажигания и пойдет разыскивать нерадивого шофера. «Почему зря расходуете бензин? За него же колхоз деньги платил. А вдруг бы да увидел это мой папа? Знаете, что было бы?»

Повстречается Дадамою колхозное стадо, он обязательно свернет с пути, хоть метров сто, да пройдет с чабанами, помогая им гнать и так послушно бредущее стадо. «Мой папа будет рад, узнав, что вы благополучно вернулись с пастбища».

По-разному воспринимали люди его слова: кто искренне поблагодарит за помощь, а кто и посмеется над мальчишкой, сующим нос в дела взрослых. «Хорошо, хорошо, начальник, учтем на будущее...»

Дадабая это нисколько не смущало, и он продолжал свои добрые дела на благо родного колхоза.

Репродуктор пронзительно свистнул, откашлялся и заговорил сиплым, простуженным басом. «Мамаюсуф Галифе говорит,— тотчас определил Дадабай.— Папин помощник».

Если честно, никто не знал, и Дадабай тоже, какую должность занимал Мамаюсуф в конторе колхоза. Но выполнял он множество неотложных дел: отстукивал двумя пальцами на пишущей машинке какие-то письма, носил чай, когда заявлялись гости или какая-нибудь комиссия, отвечал на телефонные звонки, если в правлении никого не было, оповещал людей о собраниях (правда, тогда еще не было колхозного радиоузла). И лет сорок уже носил брюки галифе, никаких других не признавал. Потому его и прозвали Мамаюсуфом Галифе.

«Добрый день, граждане товарищи колхозники! Кхм-кхм, мы с новым энтузиазмом начинаем свой очередной доблестный трудовой день. Колхоз наш уверенными шагами приближается к заветному рубежу своей славной задачи — собрать и сдать государству сорок шесть тысяч тонн «белого золота». План уже выполнен на пятьдесят три процента, но впереди предстоят еще серьезные битвы. По этой причине каждая живая рабочая единица на счету, хотя большинство работ на данном этапе хлопковой страды выполняется машинами. Вместе с тем наш любимый процветающий кишлак не лишен отдельных несознательных граждан, которые, вместо того чтобы встать на героическую трудовую вахту, отправляются в райцентр на базар или притворяются больными. Стыд и срам таким личностям, находящимся в позорных путах пережитков прошлого. Нам ничего другого не остается сделать, как напомнить им участь тунеядца Маткову́ла, всенародно опозоренного за свои недостойные поступки своею же семилетней дочерью...»

«Эх, был бы я боксером или самбистом, я бы им показал! — с сожалением подумал Дадабай, который осо-

бой силой не отличался, держался от драчунов и забияк подальше, но в мечтах частенько схватывался с разными темными личностями, проявляя чудеса храбрости и силы. — Выстроил бы всех тунеядцев в шеренгу и — бамц, бамц! — уложил бы в аккуратный рядочек. Потом спросил бы, лениво обтирая руки белоснежным носовым платком: «Ну как, будем честно трудиться или повторить?» Все тунеядцы, само собой, хватают фартуки и бросаются в поле. Глядишь, вечером Мамаюсуф Галифе объявляет по репродуктору, захлебываясь от восторга: «Благодаря усилиям нашего славного помощника Дадамоя... кхм... кхм... простите, Дадабая, с полей убраны последние граммы «белого золота» и колхоз наш первым в районе... нет, в области... в республике... выполнил валовой план сбора хлопка!»

Между тем Мамаюсуф кончил стыдить нерадивых односельчан, к сожалению еще встречающихся в нашей жизни, и тем же усталым, осипшим голосом прочитал сводку по бригадам, объявил, за кем сегодня какой транспорт закреплен. Потом запустил магнитофон со своими любимыми, бесконечно длинными индийскими песнями.

Дадабай высунулся из-под марлевого полога, сорвал свисающие над самым изголовьем два яблока, лег на место. Пусть он не в силах наказать тех тунеядцев, но помогать родному колхозу, а тем самым папе он все равно будет. И его еще похвалят. Поблагодарят. А может, и наградят чем-нибудь... Быть может, тот же Мамаюсуф в газету заметку пошлет, он ведь селькор и, как сам говорит, освещает разные деревенские новости, рисует образы передовых трудящихся кишлака.

«Вдохновленные трудовым энтузиазмом своих отцов и матерей, — напишет он в своей заметке, — простые кишлачные ребята Дадамоя... простите, Дадабай, Шукур и Энвер прославили свою школу и колхоз. Каждый день после уроков их звено выходило на дорогу, ведущую из Ляйлякхудо в райцентр, где находится хлоппункт, и подбирало упавший на землю хлопок. Славное звено обогнало всех своих соперников по классу, а также по школе, набирая в день по три-четыре килограмма хлопка, обреченного на гибель. Ребята завоевали вымпел и получили подарок — альбом с видами разных славных городов на-



шей страны. Дадабай, Шукур и Энвер также являются примерными учащимися, можно сказать, отличниками, хорошими общественниками, растут достойной сменой старшего поколения...»

Дадабай выбросил огрызки яблок и с наслаждением потянулся. Да-а, хорошо было бы, если бы они могли собирать по стольку! А это, надо признать, не удастся. Нынче колхозы возят хлопок в громадных мешках — канарах, а не вроссыпь, как бывало. А из мешка, понятное дело, много не вывалится. Сколько они вчера рыскали на шоссе, что ведет в райцентр, а набрали всего ничего — семьсот граммов.

Тогда Шукур перелез через арык, нашел удобное местечко на меже и уснул от расстройства. А Энвер вспомнил, что надо срочно дочитать библиотечную книжку.

— Иди,— разрешил Дадабай великодушно.— Тут я и сам управлюсь. Было бы что подбирать, я бы показал!..

А подбирать, как уже говорилось, было нечего. И вымпел уплыл из рук. Его получило звено Эгамберды Совы, которому досталось не шоссе, а проселочные дороги.

Там всегда больше падает хлопка, и это несправедливо, что для всех участков установили по три килограмма нормы. Для проселочных дорог, например, следовало установить пять или шесть кило. Или наоборот: для шоссе — килограмм или полтора. Тогда можно было потягаться с этим несчастным Совой. Но мы еще посмотрим, чья возьмет...

Выскочив из постели, Дадабай со всех ног помчался к веранде: там висел папин стеганный ватный халат — чапан. Подобрал длинные полы, Дадабай туго завернулся в него, потом сунул босые ноги в мамины шлепанцы. Надежно схоронившись таким образом от утренней свежести, он все же осмотрел вешалку: не висит ли на ней зимняя шапка или пуховый платок?

Не обнаружив ничего подходящего, он махнул рукой и направился на кухню.

Мама укладывала волосы перед зеркальцем, стоявшим на подоконнике. Завтрак на столе был накрыт салфеткой. Бабушка сидела в плетеном кресле, сложив на коленях узловатые, в синих толстых венах руки. Увидев Дадабая, она укоризненно покачала головой:

— Ты чего так рано вскочил, внучек? Поспал бы еще немного.

А мама засмеялась:

— Вот папанинец, а! Точно на северную зимовку собрался!

— Ничего,— кивнула бабушка,— пусть бережет себя смолоду. Не будет на старости лет ревматизмом мучаться, как я.

Дадабай взглянул на бабушкины валенки: она не расставалась с ними ни летом, ни зимой. И всегда жаловалась, что ломит в суставах. Пальцы на ногах у нее такие скрюченные, что страшно глядеть.

Дадабай много раз слышал, отчего заболели у нее ноги. В годы войны в кишлаке жилось очень трудно, а бабушку назначили бригадиром вместо ушедшего на фронт сына, папы Дадабая: в колхозе не хватало ни людей, ни транспорта. Пахали на волах, на коровах. О канавокопателях, грейдерах, скреперах, бульдозерах и прочей технике и не слыхивали. Кетмень в руки — и пошел. А каждый год к весне надо было прочищать арыки, углублять зауры — водоотводные каналы. Делали это вручную, тем самым кетменем, стоя по колено в студеной жиже. Обуты были кто во что: в сапоги без галош, в галоши без сапог, в йчиги...<sup>1</sup>

Вот тогда-то и получила бабушка свой ревматизм.

— Я вам напекла слоеных лепешек,— сказала мама.— Еще горяченькие. Поешьте со сметанкой и вареньем. И плов в казане согрет. Ты сегодня тоже дежуришь, папанинец?

— А как же! Мы дали слово сегодня завоевать вымпел!

— И вы уверены, что завоюете?

— Конечно. О нас еще в газетах прочитаете.

— Вот было бы радости! — оживилась бабушка.— Иди, дочка, иди, а то опоздаешь.

— Иду. Возьми с собой поесть, стахановец. Бабушка завернет.

— Ладно.

Дадабай сел к столу, снял салфетку и принялся за еду, радуясь тому, что мама ушла, не догадавшись прогнать

---

<sup>1</sup> И ч и г и — легкие сапоги на тонкой мягкой подошве.

его умываться. А вода в кране наверняка — бр-р-р! — ледяная!

— И мы, бывало, внушек, вставляли чуть свет, чтобы идти в поле. Да не слоеных лепешек наевшись, а пожевав кусок жесткой лепешки из джугары. Запивали свекольным чаем.

Дадабай слушает бабушкины рассказы вполуха — он давно привык к ним, наперед знает, о чем пойдет речь. Но виду не подает. Пусть рассказывает, раз ей приятно. Ведь, если посудить, в самом же деле трудно им пришлось, очень трудно. И Дадабай иногда даже задает вопросы, чтобы выяснить кое-какие детали.

— А пионеры вам помогали, бабушка?

— Колхозу помогали все детишки, все, кто мало-мальски годился на полезное дело.

— Молодцы ребята! — одобрил Дадамой, вытирая салфеткой губы. — Ну, я пойду, бабушка. Надо еще звено собрать... — Тут он сделал озабоченное лицо, подражая папе. — Пока поднимешь с постели этого засоню Шукура, полдня потеряешь.

— Иди, внушек, иди. Глаза мои радуются, глядя на вас. Все-то вы служите своей земле, матушке нашей, доброй кормилице...

Дадабай не пошел, как объявил бабушке, собирать звено. Потому что никакого звена уже фактически не существовало. Энверу с Шукуром совсем не понравилось слоняться без толку по шоссе, собирая жалкие комочки упавшего хлопка. Они бы с большим удовольствием поехали в поле вместе со старшеклассниками: собирать — так собирать по-настоящему. А то не поймешь: игра не игра, работа не работа... Вот почему они вчера удрали, перестав быть членами звена, взвалив всю ответственность за себя на Дадамою. Пусть он будет и звеньевым, и рядовыми членами звена, раз это ему так нравится, и всю славу пожинает один, если, конечно, она когда-нибудь в это тысячелетие придет...

Шоссе, ведущее в райцентр, было чистеньким, как подметенный двор. По асфальту, матово поблескивавшему под лучами оранжевого солнца, со свистом проносились тяжело груженные грузовики. Их кузова горбились горами, тоннами хлопка, а не уронят для тебя даже трех несчастных кило...

Дадабай сошел с дороги, сел на бугорок. Вчера здесь спал Шукур: на земле даже вмятина осталась от его большой головы. Жаль, неохота спать, а то можно было бы завалиться. Стоило ради такой «работы» вставать так рано, в такую стужу! Хоть книжицу какую следовало захватить, что ли, и то время прошло бы с пользой...

Дадабай все же лег, подложив под себя теплую куртку. Лежать было неудобно, и он подвинулся дальше, в грядку. «Жалко, что не прихватил папин чапан,— накрылся бы»,— подумал Дадабай и увидел на фоне бледно-голубого, без единого облачка, неба устремившийся вверх куст хлопчатника. Из коробочек, похожих на кисть руки с растопыренными пальцами, пышно выбивались серебристо-белые хлопья.

Одна, другая, третья... Дадабай сосчитал на одном кусте двадцать шесть коробочек.

Затем он начал считать кураки — нераскрывшиеся коробочки, напоминающие зеленые ягоды крупной сливы, но не закончил. Какая-то мысль, беспокойное чувство заставили его сесть. А потом словно толкнуло изнутри: ну конечно, на одном этом кусте и есть все те три килограмма, за которыми их звено без толку гонялось вот уже сколько дней!

Подумать только, на одном несчастном кустике! Пусть даже не на одном, пусть на трех. А что такое три кустика? Ничто, капля в море. Сколько их, таких кустиков, гибнет от града, от наводнений, от животных разных! Обходится. И теперь ничего не случится, если он, Дадамой, займет у родного колхоза хлопок — всего лишь с трех кустиков: он ведь возьмет не себе, а тому же колхозу. Только чуток вываляет в грязи, налепит немного сору, чтобы на «подбор» походил...

Он, Дадамой, сделает это вовсе не ради выпела или хвалебной заметки в газете, нет, а чтобы спасти честь звена, чтобы оно у них с Шукуром и Энвером было ничуть не хуже, чем у других. А то ведь, чего доброго, засмеют товарищи, скажут, что они лежебоки, тунеядцы, не хотят работать...

Сомнения куда-то отошли, сгинули. Вскочив, Дадамой воровато огляделся, кинулся обирать кустик с двадцатью шестью раскрывшимися коробочками. Потом подошел ко второму, к третьему...

Набив карманы, Дадабай стал засовывать хлопок за пазуху — острые семена легко покалывали живот, грудь, и Дадамою было приятно чувствовать, как он тяжелеет. «Три килограмма, наверное, уже есть, соберу еще чуточку, чтобы наверняка...»

Через полчаса Дадамою весело шагал в школу, держа под мышкой грязный, весь в земле и мусоре, хлопок, завернутый в куртку.

Всего, оказалось, Дадамою принес четыре килограмма и двести граммов «подбора», чем его звено одним рывком вырвалось в передовики. Виновник успеха ходил гоголем — ну что вы, не тронь нас! — на членов звена, которым было стыдно за сегодняшний прогул, посматривал свысока. Не сговариваясь, Энвер и Шукур решили, что завтра непременно выйдут на дежурство. Но вечером Дадабай сбил их с толку.

Под строгим секретом он сообщил, что ходить на шоссе ни к чему. Сегодня он набрал в два раза больше, чем принес в школу, но остальную часть на всякий случай припрятал. А вдруг завтра не свалится ни грамма? Возвращать вымпел? Как бы не так!

Энвер с Шукуром одобрительно переглянулись, нашли, что Дадабай поступил правильно, с умом.

Классный руководитель похвалил трудолюбивое звено Дадабая, принял хлопок, потом с озабоченным видом поспешил в учительскую. Встретив в коридоре директора, поделился своей тревогой:

— На шоссе наши ребята набрали больше четырех килограммов «подбора». Какая-то бригада, видать, из рук вон плохо загружает машины.

— Да, неприятный случай. Так они половину урожая на дорогах растеряют. Я сейчас же позвоню председателю, пусть принимает меры.

Наутро Дадабай пришел на поле с фартуком, специально предназначенным для сбора хлопка. У Дадабая уже появилась кое-какая сноровка. Он понял, что невыгодно носиться по грядкам, а лучше идти прямо, обирая кусты обеими руками. Сгибаться и разгибаться все время тоже не следует — тотчас заломит поясницу. Лучше всего идти чуть наклонясь...

Опорожнив один фартук, Дадабай принялся наполнять второй. Его руки — цепкие, ловкие — бегали по кустам,

очищая коробочки. Довольный собой, Дадабай на ходу сочинил песню:

Раз, два, три, четыре,  
 пять,  
 Не успеет солнце встать,  
 Росу с листьев  
 слизать —  
 Мы уж по полю идем,  
 С хлопком фартуки  
 несем!

Фартук здорово потяжелел. «Пора закругляться,— решил Дадабай.— Сегодня у всех глаза на лоб полезут, когда я сдам килограммов десять, а то и больше!»

Высыпав хлопок, он с наслаждением опустил ся на землю, вытянул ноги, взял горсть хлопка и стал валять в пыли, точно так, как катают тесто в муке. В этот момент кто-то словно железными когтями вцепился ему в плечо, сильно встряхнул.

— Ай! — вскрикнул Дадабай испуганно.

— Что ты делаешь с хлопком, паршивец? Что делаешь?

Дадабай от толчка свалился на землю, закрыл лицо руками. Он не видел человека, стоявшего над ним, но по голосу узнал — это Рахмонали́-ака, бригадир третьей бригады.

— Что он сделал с хлопком, а, что сделал?! Да ты не боишься, что у тебя после этого ослепнут глаза!

Рахмонали поднял грязный клоч хлопка, опустился на корточки и осторожно, словно доставал из глаз соринку, стал выбирать приставшие к хлопку листья, комочки земли, веточки и разный другой сор.

Бригадир наклонился вперед, поднимая с земли пушистые дольки хлопка, и на Дадабая пахнуло потом, землею, пылью и еще чем-то знакомым. Дадамой вспомнил, что и от папы всегда так пахнет, когда он возвращается поздно ночью домой...

Словно почувствовав состояние мальчика, Рахмонали пристально посмотрел на него. Дадабай успел заметить, что кожа на шее и лице бригадира такая загорелая и огрубевшая, что стала походить на жесткую кору старой

чинары. А из-под воротника и закатанных рукавов серой рубашки с соляными разводами на спине виднелась неестественно белая кожа...

— Сколько хлопка погубил, сколько хлопка! — опять пробормотал Рахмонали, будто разговаривая сам с собой.

Дадабай съежился, втянул голову в плечи. Он почувствовал себя маленьким-маленьким, совсем беспомощным и никчемным. Из глаз побежали слезы.

— А чего реवेशь? Нашкодил и реवेशь, да? — Рахмонали поднялся, отряхнул колени. — Умел безобразничать, умей и ответ держать, герой.

Дадабай робко встал, не смея поднять головы.

— А ты как думал, спасибо тебе скажут, что погубил чужой труд?! А еще дехканина сын! Ты не знал, сколько сил вложено, чтобы вырастить один такой кустик? Ты только погляди на своего отца: одни глаза на лице. Кожа да кости. Ради таких кустиков днями и ночами в поле, света белого не видит, а ты!.. А ты решил смешать его труд с землей!

Дадамой тер кулаками глаза, размазывал по лицу слезы.

— Дай сюда фартук. Держи вон тот угол, вот так. И хватит воду пускать. Полив хлопчатника в это время воспрещен.

Расстелив фартук, бригадир начал складывать в него хлопок.

Когда связали концы фартука, получился тюк, похожий на туго набитую подушку.

— Ого! — сказал Рахмонали, взвесив его рукой. — Порядочно. Бери на плечо, топай на хирман. Сам собирал — сам и неси.

Дадабай с трудом поплелся за бригадиром, неся на плечах тяжелый тюк.

— Хлопок, что ты несешь, — говорил Рахмонали, широко шагая впереди и не оглядываясь, — принимают по высшему сорту, на него и цена высшая. А за «подбор» платят копейки. Если у нас заведутся такие молодчики, как ты, мы пойдем по миру. Всем миром. Вот так-то, дорогой Дадамой, отец мой дорогой. Пора бы знать такие вещи, ведь ты сын хлопкороба, земледельца! Чему радоваться, если у тебя в руках не хлопок, а бумажка с цифиркой? Продукта-то того у тебя нет!

На хирмане фартук взвесили. В нем оказалось двадцать четыре килограмма хлопка.

— Халмат, выпиши мальчишке справку, сколько он собрал хлопка, — распорядился бригадир.

Весовщик отошел к тени карагача, где стоял колченогий столик. Рахмонали подмигнул Дадабаю.

— Хотя ты и глуп по молодости, а дехканская жилка в тебе есть. Издали наблюдал я за тобой. Собрать двадцать четыре килограмма за сорок одну минуту совсем неплохо. Думаю, ты и твои дружки сгодитесь нам. У нас ведь не все еще участки приспособлены под машинный сбор...

Подошел Халмат, держа в руке клочок бумаги. Он негромко кашлянул, взглянул на бригадира, потом на Дадабая. Рахмонали взял справку, пробежал ее глазами, вынул шариковую ручку и расписался.

— Отдашь своему учителю. — Бригадир испытующе посмотрел в глаза Дадабаю, передавая справку. — Скажи, что вечером я загляну к нему договориться насчет новой работы для вас, мальчишек. Хоп?

Дадабай кивнул, но не тронулся с места. Он не знал, кончился разговор или нет. Ведь должно же последовать какое-нибудь наказание!

— А теперь иди. Твои двадцать четыре килограмма спасли тебя, подборщик. Понятно? Если бы ты за те сорок одну минуту собрал меньше пятнадцати килограммов, я бы попросту отшлепал тебя. Ну, беги домой.

Бригадир и весовщик, улыбаясь, долго глядели вслед Дадабаю, бежавшему прочь от хирмана во всю прыть.

1970

## КОНЕЦ «ГРОЗНОЙ КАРТЫ»

Стояло лето, но саратан, когда можно плескаться в мутном арыке до посинения и жариться на солнце до черноты новеньких сапог, когда фруктов, арбузов, дынь — ешь не хочу, все никак не наступал. Ватага наша, прозванная ребятами соседних кварталов «Грозной картой», изнывала от бездействия.

«Грозная карта» — это рулон миллиметровой бумаги,



на которой расчерчена вся наша махалля, все дома, сады и огороды при них. С особым тщанием обозначены на ней — красным карандашом! — наиболее опасные подступы к садам и огородам, наиболее диковинные фрукты и овощи, растущие там.

К примеру, у Эшмата растет в саду миндаль, скрещенный с персиком. Снаружи сочный краснобокий персик, а внутри не простая косточка, а миндаль, представляете? И ни у кого нигде нет такого дерева! Еще бы хозяин-садовод не спал под ним, охраняя как зеницу ока! А на нашу карту миндаль поместил Рахим, сын того самого Эшмата.

К чести «Грозной карты» надо сказать, миндальное дерево мы не тронули, учитывая, насколько оно уникально.

Вообще каждый из нас честно помечал на карте все, что растет и зреет в его собственном саду и огороде. Указывались также наиболее безопасные пути похищения. Диковинного, правда, было мало. Почти все то, что росло у соседа, росло и у каждого из нас. Но ведь как интересно залезть к самому себе в сад с группой таких же, как ты сам, отчаянных, отважных, ловких сорванцов и очистить наголо, скажем, дерево черешни!

На какие только ухищрения не шли хозяева, чтобы уберечься от наших дерзких набегов! Ставили капканы самые хитроумные, в самых неожиданных местах, правда и не подозревая, что они тотчас же оказывались обозначенными на «Грозной карте» и утрачивали всю свою опасность.

Иные привязывали к дереву свирепую псину и днями не кормили, бедную, чтобы была еще злее, хватала разорителей садов со всей жестокостью. А волкодав и звука не издавал, хотя мы чуть ли не с его спины взбирались на вожделенное дерево. Потому что в это время оголодавшую собаку кормил с руки его же маленький хозяин из дома же вынесенными припасами.

Особую опасность представляли, конечно, хозяева, которые, не доверяя ни механическим сторожам, ни хитроумной сигнализации, ни четвероногим друзьям, сами располагались под деревом на дощатой кровати, вооружившись крепкой дубинкой или дробовиком, туго начиненным солью. Такие охранники обозначались на «Гроз-

ной карте» в виде большого, печально закрытого глаза: «Внимание! Недремлющее око!»

Изображалось оно закрытым потому, что и с таким хозяином мы справлялись играючи. Терпеливо дожидались, когда у него появлялось какое-нибудь пусть незначительное, но естественное дело, которое никак нельзя откладывать.

Едва стражник покидал пост, «Грозная карта» обрушивалась на оберегаемое дерево или грядку с беспощадностью саранчи, правда, в отличие от нее, не оставляя за собой ни примятого кустика, ни сломанной веточки на дереве. А вот полюбившиеся плоды, ягоды исчезали безвозвратно.

Вот так свирепствовала «Грозная карта». И не было с нею никакого сладу.

Дело к саратану, но вода в арыке холодная, ледяная. Не поплескаешься! И «Грозная карта» бездействовала. Махалля поглядывала на нас без всякой опаски, а даже с некоторой долей сочувствия. Сама природа словно выступила против своих отчаянных, отважных, ловких сорванцов. Было от чего повесить голову.

Но вот разведка донесла, что на гузаре<sup>1</sup>, возле мельницы, где небольшая хижина местного почтальона Мамарасула-бобо, на вековой чинаре, обвитой лозами самого раннего винограда, созрел урожай. Кишмиш весь уже даже черный. Покрыт белесоватой пылью. И гроздей такая уйма, что не разгрузи чинару — рухнет она, бедная, многовековая!..

Гузар не значился на «Грозной карте». Пришлось составлять новую. Распределили точные действия и обязанности каждого бойца.

Чинара росла у большого арыка. Подойти открыто к ней, да еще взобраться немислимо: с утра до вечера Мамарасул-бобо посиживал у своей мазанки с такими же, как сам, седобородами за никогда не убывающим чайником чая. Тут же в очаге тлели урюковые поленья, а кумган<sup>2</sup>, врытый в уголья, пыхтел и испускал пары, показывая, что готов обеспечить кипятком сколько угодно еще чайников!

---

<sup>1</sup> Гуз а р — центральная площадь кишлака.

<sup>2</sup> К у м г а н — медный кувшин с узким горлышком.



Как быть? Нас семеро. Чинара высокая. Кишмиш на верхней части дерева. Если создать своеобразную цепочку по всему дереву, от плодоносной части его до земли, где у самого ствола проходит арык, задача будет решена. Цепочку составят пятеро ребят. Верхние рвут кишмиш, передают вниз. Последний, который прячется за толстым стволом чинары, опускает гроздь в арык. А ниже по течению дежурят двое молодцов, вылавливающих добычу. Пятеро к чинаре подплывают издали (подумаешь, вода ледяная!), дыша через камышинки, забираются незамеченными на дерево и... пошла работа!

Решено — сделано. Что-что, плавать, лазать по деревьям мы умели!

Гроздь винограда, фиолетово-сизые, тугие, тяжелые, поплыли вниз, бесшумно опускаясь в воды арыка. Веточка не шелохнулась, малейшего хруста не издали отрываемые грозди, журчание веселого — бр-р! — арыка не нарушил никакой всплеск...

Тут уместно привести разговор, который происходил между тем у Мамарасула-бобо с его собеседниками-чаевниками.

— Однако, уважаемый, я и не знал, что на вашей чинаре, кроме раннего винограда, растут и синие груши.

Мамарасул-бобо сидел спиной к тому почтенному дереву. Но он не оглянулся выяснить, о каких «грушах», вдруг выросших на чинаре, идет речь. Он ответил:

— Пейте чай, мельник. Я уже седьмой десяток живу возле этой чинары и арыка. Я знаю, от какого ветра какая сторона чинары колыхнется, как изменяется течение, если по арыку плывет половинка арбуза, выброшенного нерадивыми хозяевами, или перезревшие яблоки, упавшие в воду... Этих «груш» я никак не мог не заметить...

— Так что же вы сидите молчите? Надо поймать да отхлестать их хорошенько!

— Пейте чай, мельник. Отхлестать всегда успеется. Но отвадит ли это их от дурного дела? Вряд ли. Мне сейчас любопытно посмотреть, оплошают шельмецы или нет? Прошу вас, сидите как ни в чем не бывало, пейте чай...

— Однако ведь вода в арыке: руку сунешь — пальцы немеют... — удивленно покачал головой третий собеседник.

— А вы вспомните себя! Это же мальчишки! В их жилах не кровь, а огненная лава течет. Дай-то бог, чтобы всю жизнь не остывала она. И чтобы на дела добрые, хорошие направлялась...

...Оборвав достаточное количество кишмиша (возможно, даже чуть больше, чем смогли бы съесть), мы по-кошачьи сползли с чинары, бесшумно, как ложка в масло, погрузились в арык и уплыли прочь в полутора метрах от аксакалов, мирно попивавших чаек...

Как мы здорово сообразили, а? Загляденье! А виноград кишмиш? Целая куча, ешь да ешь!

Но мы не смогли его съесть. И цвет тот, фиолетово-сизый, и пыльца — все был обман. Кишмиш оказался еще незрелый. Отведав по одной-две виноградины, мы разбрелись по домам. Ни радости не было от удачного налета, ни гордости за себя...

На другой день солнце так раскочегарилось, что температура воздуха подскочила до сорока. Но она, кажется, была не ниже и у всех нас, семерых.

В день, когда я почувствовал себя почти здоровым, к нам вдруг заявился Мамарасул-бобо. С громадным глиняным подносом фиолетово-сизого, припорошенного нежной белесой пылью кишмиша...

— Слышал, приболел ваш ягненочек, — сказал он, здороваясь с отцом. — Пусть покусает кишмиша. В нем, говорят, много битаминов.

От этого винограда я не съел, признаюсь, ни одной ягодки. Выйдя на улицу, узнал, что Мамарасул-бобо с таким же подносом посетил всех остальных моих товарищей. И они тоже не могли есть тот кишмиш...

1983

## ЧУЖИЕ ЗАБОТЫ

Памяти знающего механизатора Героя  
Социалистического Труда Мустафы Чачи

На сури, установленной под разлапистой урючиной, спит семейство: Мемёт и жена — по краям лежанки, детишки — посередке. Из-под цветастого ватного одеяла

видны черные кудрявые головки девочек. Самый младший, мальчик, разметался во сне, закинул голую ножонку отцу на грудь.

В калитку постучали — сначала робко, потом сильнее и настойчивее. Мемет осторожно отодвинулся, накрыл одеялом сына, уложил его на подушку. Спустил ноги, нащупывая шлепанцы, накинул на голое тело халат, пошел открывать.

За калиткой стояла тетушка Рахилья в одном платье, с непокрытой головой. Лицо ее выражало испуг.

— Мамат, сынок, беги или в телифон звони, или заводи свою чертову коляску, скачи, зови быстрее милисию, самого главного милисию!..

Из сбивчивого рассказа старухи Мемет понял, что у нее увели из хлева единственного барашка, которого она откармливала к свадьбе любимого племянника Расула, коли тот надумает жениться...

Расспросив тетушку Рахилью поподробнее, Мемет выяснил, что вечером к старушке пришел ночевать Расул, был он чуть-чуть навеселе, но голодный: проглотил две косушки шурпы и три лепешки. Потом легли спать. Рахилья спала в комнате, у нее ломило поясницу. Расул — во дворе, под навесом. Проснулась тетушка, по своему обыкновению, рано, вышла во двор, и глядь — дверь хлева настежь, калитка настежь, барашка нет, и постель любимого Расула пуста...

— Боялся, видно, дитя, что родители беспокоиться будут, ушел спозаранку, да, видно, забыл калитку-то запереть. А они, воры, и обрадовались...

— Конечно, как тут пройти мимо открытой калитки! — пробормотал Мемет. — Не хочешь — и то полезешь... Они, воры, только и ищут, где открытая калитка... — Далее Мемет продолжал, понизив голос: — Никому не говорите ни слова о пропаже, даже племяннику. Прислышат разбойники, что милиция взялась за дело, мигом спрячут все концы... Не видать вам тогда своего барашка.

Сухие дрова разгорелись быстро и весело, окутав кумган синим пламенем. Опустившись на козью шкуру, посланную у очага, Мемет задумался. Барашка определенно увел со двора Расул. Возможно, удастся вернуть старухе барашка. Дело не в этом. Беда в другом: как бы этот парень не натворил чего похуже, что потом трудно будет

исправить. А ждать от него можно такое в любую минуту: парень выпивать стал, с разными балбесами путается, не работает...

Услышав за спиной шорох, Мемет обернулся. Так и есть, жена проснулась. Все слышала, все поняла и теперь уж точно заведется.

— Чего она приходила... Рахилия-хала-то?

Жена знала, что ответа не будет, знала, что все ее попреки, угрозы, мольбы и жалобы потонут в молчании мужа, и все-таки не сдержалась:

— Ни днем ни ночью нет покоя: Мемет, ты нужен тому, Мемет, ты нужен этому, нужен Эшмату, нужен Ташмату... Когда по работе теребят — ладно, потерпишь, за то и хлеб ешь, а какое твое дело, что этот паршивец Расул увел у родной тетушки барашка? Ты кто, милиционер или казий<sup>1</sup>, почему к тебе бегут по разным таким делам?!

Мемет поднял голову, взглянул в лицо жены. Усталое, осунувшееся, тревожное лицо.

— Ты вот говоришь, жена, посадить надо Расула. Допустим, посадили парня, хотя я не знаю, за что ты хочешь упрятать его в тюрьму, — это ведь твой домысел, что барашка тетушки Рахили увел Расул. Ну, допустим, он барашка украл и его забрали. Послезавтра привозят Расула в совхоз со стриженной головой, собирают людей в клубе и судят честь по чести. Выступает один товарищ, выступает другой, а третий возьми да скажи: «Кого мы судим, товарищи? Не того, кого нужно. Или, по крайней мере, рядом с этим пареньком должен бы сидеть еще кое-кто... Мемет Чинай, например...»

— Что ты болтаешь, Мемет? Аллах с тобой! — сказала жена. — Тебя-то за что? Ты-то тут при чем?

— А при том, жена, — продолжал Мемет не спеша. — При том, что Расул мой ученик. Сколько он пробыл в моей кабине? Мы почти три года глотали вместе пыль и жарились на солнце. Я его учил своему ремеслу, как говорится, передавал опыт, но, оказывается, не воспитал, не научил быть честным человеком. Вот за это-то и могут осудить меня, дорогая жена. И будут правы.

Завтракали молча. Жена вздыхала, украдкой погля-

---

<sup>1</sup> К а з и й — судья, судивший по законам шарната.

дывала на мужа. Тот размышлял о своем. Не все сказал жене в давешней речи. Основное-то скрыл, совестно стало. Его вина больше, гораздо больше. Еще осенью Расул окончил училище, получил специальность механизатора широкого профиля, заявился с товарищами в совхоз. В кармане направление, в душе желание работать. Начальство вначале обрадовалось: как же, люди-то квалифицированные нужны! В правлении не знали, как их приветить, на какое место усадить, но прочитали их документы — переглянулись, приуныли: у некоторых вместо паспорта свидетельство о рождении. Куда такую зеленку? Постановление запрещает принимать несовершеннолетних на работу по специальности механизатора. Пронюхает какая комиссия — шею намылят, рад не будешь. Что же делать? Не давать же ребятам от ворот поворот! Нашли выход: а позвать сюда Мемета Чиная. Он главный механик отделения, ему и карты в руки, никто не скажет, что от ребят отделались. Мы «за», обеими руками «за», но... Так что решено. Ребята не гордые, могут походить в подсобниках, учениках или кем там еще, на месте виднее будет, да заработать дайте им.

Позже прикинул главный механик так-этак и выделил шестерым ребятам одну машину, старенький пропашной трактор. Пусть пока поработают в две смены, столько, сколько положено в их возрасте, а насчет заработка... Что ж, он сам, Мемет, позаботится, чтобы не обижали. Конечно, можно было приставить ребят и к новеньким машинам, недавно поступившим в парк, да боязно стало: а вдруг раскурочат? Люди-то молодые, горячие, безответственные. Нет, правда, товарищи, погодить надобно...

Словом, схитрил Мемет, а потом еще удивлялся, когда пацаны через три недели разбежались: надоела им возня с дряхлой машиной, небось работать хотелось, видеть плоды своих трудов, да и кровные денежки получать, а не то, что выписывало им начальство из жалости. Один скрыл свой возраст и устроился в водхозе, другой пошел в дорожное управление, третий гулял, гулял да спер барашка у родной тетушки! Ты, Мемет, считай, подталкивал сзади того барана. Если бы с твоим братом Амэтом обошлись точно так же, как ты с Расулом и его товарищами, то и он небось отчубучил бы такое. Но после училища его не мариновали, не гнали мусор убирать на



пустыре, а дали справную машину, благо что годами вышел, после армии, потом звено доверили — и пошел парень в гору. Сто шестьдесят тонн хлопка собрал в прошлый сезон, лучший звеньевой в совхозе...

— Дай-то бог, чтобы все обошлось, — виновато проговорила жена, провожая Мемета до калитки. — Я чего беспокоюсь: сколько у тебя перебывало талебе<sup>1</sup>, сколько непутевых людьми сделал, иные над тобой же стали начальниками, а много ли ты слышал слов благодарности? Сколько помню тебя, одни огорчения да неприятности от них...

«Одни огорчения да неприятности»... А ты думала, пряники тебе должны носить? Думаешь, я очень радовал своего наставника? Каково ему было, когда я угнал его трактор, единственный в колхозе «фордзон», и врезался в заур, откуда выволакивали его волами! Дал подзатыльника и простил, да внимательнее стал учить. Ведь недаром у нас говорится: «Мастер, не взрастивший ученика, подобен бесплодному дереву».

Так, споря про себя с женой, Мемет и не заметил, как добрался до парка.

Огромный двор, обнесенный невысоким глиняным забором. В первых рядах машины, которым находится работа и летом, и зимой, — прицепные тракторы. Сгрудились группками, вернее, семейками, запыленные. За ночь отдохнули, отдышались от бесконечной беготни, наговорились и теперь спят все на своих местах с открытыми глазами. Легкая роса посеребрила их хребты, а раннее солнце позолотило порядком износившиеся и потускневшие части...

Дальше, сбоку, возле мастерских стоят старички и хворые. Так и кажется, что слышишь тяжелые вздохи, тоскливый полусшепот о болезнях. «Потерпите, милые, потерпите. Ударит час, и вы один за другим сбросите костыли, скинете повязки и здоровыми, молодыми вернетесь к своим. Вы не люди. Увы, у них так не бывает...»

Строго в ряд, сверкая лемехами, стоят плуги. Они укрыты под шиферным навесом, спокойны, надменны. Призовет набатный звон, за ними дело не станет. Плечом к плечу пойдут сомкнутым строем...

---

<sup>1</sup> Т а л е б е — ученик.

Голубые слоны, петерпеливые красавцы, прежде времени навьючившиеся сетчатыми хурджинами<sup>1</sup>, не топчите ножищами, не звените сбруей, скоро, скоро вам в дорогу, распускается уже «белое золото»...

Пройдя вдоль рядов хлопкоуборочных агрегатов, Мемет свернул направо и остановился. «Ба, дружище, старче родимый, о тебе-то я совсем забыл!» Мемет ласково положил руку на капот дряхлого трактора, вместо передних колес у которого торчали деревянные колодки, из расхристанного чрева свисали изгрызенные провода и скрюченные трубки. «Да-а,— вздохнул Мемет,— машины тоже стареют, как люди. И умирают. Не за этими ли тракторами толпою бегали сельчане, удивляясь их послушности, уму и силе, а счастливчикам, которые их водили, поклонялись, точно язычники идолу. Потом появились другие, более мощные, более умные агрегаты и потеснили стариков. И те, хотя по-прежнему исправно служили, признали правоту молодых. Вон и с первыми хлопкоуборочными случилось то же самое. На смену им пришли широкорядные. И те честные работяги смиренно дают себя растаскивать на запчасти...»

Мемет быстро обошел трактор, глянул вниз. Нет той заводной ручки, только черная дырка зияет. У Мемета заныла челюсть. Как это называют ученые? Условный рефлекс, кажется. Два раза получил он той ручкой по челюсти, когда пытался завести эту упрямую клячу...

Мемет рассмеялся: «Хорошо, хоть зубы не выбил, старина, спасибо».

Мемет вернулся к мастерским. Оттуда уже слышались голоса, звон металла.

— Не уставать вам, мастер! — приветствовала его группа трактористов, сгрудившихся возле разобранного двигателя.

— Привет, привет,— ответил Мемет.— Так что у нас сегодня?

Часа через два, когда все задачи, требовавшие его участия, были решены, неувязки устранены, решен вопрос о запчастях (для чего дважды пришлось звонить в «Сельхозтехнику»), работа мастерских, занятых ремонтом

---

<sup>1</sup> Х у р д ж и н — переметная сума.

техники к хлопкоуборочной страде, пошла размеренно и споро, Мемет вспомнил о барашке Рахили-хала. «Не побежала бы старуха в милицию. Если они заведут дело — пиши пропало. Тогда ничего не поправишь. Во-первых, тетушке самой нелегко будет смириться с мыслью о том, что обожаемый племянник оказался паскудником и что она своими руками засунула его за решетку. Во-вторых, туго придется и воришке. Положим, засудить его не засудят, но наверняка ославят на весь кишлак. И тогда ничего другого не останется парню, как взять чемоданчик и катиться куда-нибудь подальше».

Мемет шел, внимательно вглядываясь в дорогу, хотя мало верил в успех — баран не бульдозер, следов на асфальте не оставит. «Нет, надо проще смотреть на дело. Для начала повидаяюсь с самим подозреваемым. Если он это сделал, сразу замечу. Он ведь такой: если даже плохой сон видал — и то отразится на лице».

Расула дома не оказалось.

— Только что сидел на лавочке у калитки, — удивилась мать. — Куда же он успел деться? — Она понизила голос: — Вы бы внушили ему, что ли, Мамат, чтобы взялся за ум, а то совсем отбился от рук. Вас он послушается, вы ведь ему как родной отец... — Проводив его до калитки, добавила: — Сегодня под утро пришел и не спал нишкочечко. Все курил и курил. С отцом недавно разругался, говорит: «Мне теперь все едино, скорее бы забрали в армию...»

— Не знаете, куда бы он мог пойти?

— Не знаю даже... Разве что к этому Султáну Тилькí... У него родители все по разным городам разъезжают, торгуют овощами и фруктами, а дом пустует. Там-то и собираются они, вроде гап<sup>1</sup> дают.

Так вот где собака зарыта! Ходил, ходил парень на вечеринки, весело проводил время, а потом подошла его очередь выставлять угощение. А что выставишь, коли карман дырявый и в нем ветер гуляет? Вот и решил Расул увести барашка: часть мяса пойдет в котел, а часть можно продать — на выпивку, то да се... А увести барашка у родной тетки — не хлопотно, да и не воровство это,

---

<sup>1</sup> Га п — вечеринка, которая устраивается за счет одного из участников предыдущих пиршеств.

решил, видно, Расул, ведь баран предназначен ему, и неважно, когда он его заберет — годом раньше или годом позже.

Лишь бы успеть, пока не зарезали они злосчастного барана. Мемет почти побегал. Ворота Султана Тильки были закрыты. Во дворе стояла мертвая тишина. «Значит, баран здесь, — решил Мемет. — Днем они никогда не запираются, полагаются на своего волкодава».

Мемет вошел в соседний двор и попросил у хозяйки сноп клевера. Вернувшись назад, улучил минуту, когда на улице никого не было, и перекинул клевер через дувал во двор Султана Тильки. Он знал, что скота они не держат и кормов у них нет.

В конторе Мемета ждал завхоз школы.

— Здравствуйте, мастер! Как поживаете, как ваше здоровье, здоровье ваших детишек и верной супруги, не скоро ли в отпуск, хорошо ли удался виноград в вашем саду? — Завхоз обеими руками тряс руку главного механика.

— Спасибо. Давайте ближе к делу. Что надо? Опять запчасти? Хоть бы летом оставили в покое.

Завхоз вытер платком пот на лбу.

— Нет, нет, не запчасти. Машина нужна, Мамат-ака, машина. Булыжник подвезти на фундамент. Горим, Мамат-ака, спасайте: рабочие простаивают, грозятся уйти...

Мемет покачал головой:

— Ничего не выйдет, братец. Все, что ездит, ходит или ползает, — все занято. Удобрения возим со станции. Приходите завтра, может, что-нибудь и придумаем...

— Помилуйте, Мамат-ака, это никак невозможно. Ведь целый день пропадет без толку, рабочие разбегутся, а я должен фундамент заложить если не сегодня, то завтра обязательно. Мне голову оторвут, если столовая не будет готова к первому сентября. И ваши ведь дети будут там питаться...

— Я понимаю, понимаю, но, видит бог, ничем не могу помочь.

— Дайте шофера, а машина у нас есть. Та самая, из-за которой столько теребили вас. Учебная.

— Ладно. Будет вам шофер, — усмехнулся Мемет. — Идите, через полчаса он придет к вам.

...У реки, что опоясывает кишлак полукольцом, ватага ребят. Они черны, прокопчены на солнце, изготавливают «ядра». Зажимают в ладонях горсть пыли, опускают в воду. После того как пыль принимает круглую форму, «ядро» вываливают в пыли до тех пор, пока не образуется жесткая корка. Тогда оно готово и им можно метнуть в противника.

Когда из-за поворота выполз обшарпанный грузовичок «ГАЗ-51», битва была в самом разгаре: клубились облака пыли, мелькали черные тени.

Протерев глаза, Мемет нажал на тормоз. Что за чертовщина? Через секунду все понял. Выскочив из кабины, нырнул в самую гущу облака, раздавая налево-направо чувствительные шлепки.

— Ах вы черти! Ах поганцы! Вот вам, вот, вот!

Когда медленно осела пыль, перед Меметом во всей своей красе предстали доблестные воины.

— Поглядите друг на друга! — приказал Мемет сурово. — На кого вы похожи, а? А ну марш в воду!

Довольные тем, что грозу пронесло, мальчишки попрыгали в реку. Мемет присел на подножку кабины, закурил. Вот самому пришлось ехать за булыжником. Как на грех, ни один захудалый шоферишка не подвернулся под руку.

Отправляясь за булыжником, Мемет предполагал захватить в шестую бригаду, подцепить двух грузчиков на свой риск. Теперь он решил, что нет худа без добра, заберет пацанов, пусть лучше поработают, чем бездельничать. Им же кормиться в той столовке, а не Мемету Чинаю!

Подошли ребята, натягивая на ходу одежду.

— Прыгайте в кузов, головорезы! Да держитесь крепче, шею свернете.

— Дядя Мемет, можно, я сяду в кабину? — подскочил мальчишка.

— Садись, Сейд, садись, пустая башка!

Мемет осторожно крутил баранку, объезжая рытвины и ухабы, с опаской вслушиваясь в хрипение мотора, в скрипы машины, ворча про себя: «Босяки несчастные... Чего только не вытворяют... И не проедешь ведь мимо, жалко. Поди знай, что им в голову взбредет, чего и полхлебе способны изобрести, как тот несчастный Расул».

Мемет в сердцах сплюнул за окно. Он видел Расула в сельмаге, куда заехал на этом тарантасе за папиросами. Расул стоял с двумя приятелями в темном углу магазина. Они что-то воровато дожевывали. «А, вот где я тебя застукал, молодчик! — обрадовался Мемет. — погоди, милый, я тебя сейчас проучу! И дружков же Расул подобрал себе: длинногровые, как попы, а в руке одного еще рубаб<sup>1</sup>. Артисты, елки-палки... Из райцентра, видать, у нас таких вроде нет...»

— А, Мамат-ака, добро пожаловать! — чуть не выпрыгнул из-за прилавка продавец. — Жаль, не заглянули вчера: пиалки были, сделал бы вам пяток-другой.

Мемет положил на прилавок десятку:

— Пачку «Беломора». А как бы ты их сделал, Халмат? Ты что, пиалы уже изготавлиешь?

Мемет знал, что продавец припрятывает дефицитный товар, поторговывает им из-под прилавка. Давно бы надо подлеца под нготь, да все недосуг... Видишь ли, дел поважнее по горло — сев, уборка, удобрения, запчасти, ремонт, план... Словно остальное — жизнь наша! — вовсе ничего не значит!

— Нет, Мамат-ака, что вы! — округлил глаза Халмат. — Просто так говорится.

— Знаю, что так говорится. И как делается, знаю. А кормишь ты этих чем? — кивнул Мемет на длинногровых и повел носом, как бы принюхиваясь к воздуху. — Жареной бараниной, что ли?

Расул кинул быстрый взгляд на Мемета, опустил голову. Друзья его смущенно переминались с ноги на ногу.

— Что вы, Мамат-ака! — замахал пухлыми ручонками продавец. — Какая баранина? Откуда?!

— В самом деле, откуда и быть ей, баранине? — согласился Мемет. И, будто сразу потеряв интерес к этой теме, облокотился на прилавок, доверительно приблизил лицо к Халмату: — Хочешь анекдот послушать? Так вот, был у Ходжи Насреддина ишак. Долго он служил мудрецу, пока однажды двое воришек не надумали его украсть. Только вывели они его со двора, входит в хлев

---

<sup>1</sup> Р у б а б — струнный музыкальный инструмент.

Насреддин. Тот вор, который не успел еще уйти, не растерялся: накинул на шею ослиную веревку, стал на четвереньки и стоит.

«Ты чего, братец?» — удивился Ходжа. «Понимаешь, мудрейший, — отвечает воришка. — Украл я однажды у отца одну таньга<sup>1</sup>, за что он проклял меня и превратил в ишака. А теперь вот сейчас по воле милостивого аллаха с меня сошло проклятие, и я вновь обрел человеческий облик». — «В добрый час», — сказал Ходжа Насреддин, снял с шеи воришки веревку и отпустил на все четыре стороны. Наутро Ходжа отправился на базар и увидел своего ишака. Тот тоже узнал своего хозяина, тянется к нему, а Ходжа не подает виду, нагибается к ишаку и шепчет на ухо: «Опять за прежнее, видать, принялся, да, малый?» — и пошел своей дорогой.

Продавец захохотал, схватившись за круглый живот, а Мемет сгреб сдачу, опустил в карман и пошел к выходу. Если считать утренний сноп клевера, Расулу это уже вторая плетка. Должна до него дойти и вторая плетка, должна. Не такой ведь глупый парень...

Мемет опять сплюнул в окно. С силой нажал на акселератор. Машина вся задрожала, завывала. «И на этой колымаге учат детишек водить машину!» Резко сбросив газ, он искоса поглядел на Сеида, который чудом удерживался на продавленном, ободранном сиденье. Ни дать ни взять тот же Расул: широкоскулый, копна буйных волос и дикий загар. Поди, лет двенадцать парню, а уже мужичок. «В шестнадцать я и то был мельче его, осенью гузапаю собирал на дрова, потом на горбу домой тащил. О какой машине мог думать в те времена?..»

— Хочешь повести? — обернулся Мемет к Сеиду.

У того загорелись глаза. Мемет остановил машину. Сеид уверенно взялся за баранку, перевел рычаг скоростей, но слишком поспешно отпустил сцепление — машина дернулась, мотор заглох. Показав, как надо, Мемет опять подумал: «Совсем неотрегулированная машина. И на ней учат детишек».

Сеид включил вторую скорость, разогнался, перевел на

---

<sup>1</sup> Т а н ь г а — монета.

третью. Ничего ведет, шельмец, и где только нахватался в свои двенадцать-то лет?

Мемет уселся поудобнее, потер пальцами висок. Где нахватался... Да все там же, в школе. Это дело рук того парня, который с завхозом вместе целый год осаждал его, главного механика: то нужно, се нужно... И если они и получали, то уж, будьте уверены, только один хлам. И вот эта самая колымага небось сооружена из тех самых отбросов, которые мы не пожалели отпустить школе, то есть своим детишкам. И вы еще возмущаетесь, товарищ Чинай: «Совсем неотрегулированная машина!» Ха-ха!

Мемет, словно боясь, что Сеид услышит его мысли, скосил глаза. Мальчик сосредоточенно крутил руль, глядя на дорогу. «Ах-вах-вах, начнешь признаваться, кругом виноватым будешь... Но все же школе надо помогать иначе. Ведь это прекрасно, что такой вот сорванец так уверенно ведет машину. Завтра он нам будет нужен...»

Всю обратную дорогу Мемет размышлял об этом. В самом деле, стыдно, даже преступно. Вот в одном их совхозе около четырехсот тракторов, и все новые прибывают. Разной другой техники не счесть. И механизаторов вроде достаточно: двести сорок трактористов-механизаторов и девяносто шоферов. Кроме того, училище, которое работает при совхозе, ежегодно выпускает около ста человек механизаторов — правда, для всего района. А приходит сезон — не хватает рабочих рук. А что такое сезон? На хлопкоуборочные машины люди нужны? Нужны. На куракоуборочные? Нужны. Нужни они и на подборщики, и на ворохоочистители, и на тракторные прицепы. Кроме того, разве плохо, если каждый человек умеет работать на тракторе, водить машину и вообще разбирается в технике? Это, если говорить прямо, должно быть мечтой каждого уважающего себя человека, особенно сельского жителя. Человек, знающий технику, — это наполовину рабочий, а рабочие, известно, самые передовые и сознательные люди.

Мемет опять вспомнил Расула и его друзей. И еще он вспомнил человека из области, с которым разговаривал как-то весной. Товарищ тот, в соломенной шляпе, с портфелем, в который вместились бы полканара хлопка, был из ВОИРа. Есть, оказывается, такое общество изоб-



ретателей и рационализаторов. Он жаловался, что в сельских местностях нет ни одного отделения этого общества, нет ни изобретателей, ни рационализаторов.

— Положим, конечно,— возразил Мемет,— в колхозе новую модель комбайна не изобретешь, но разве мало случаев, когда какой-нибудь тракторист что-то вставил, что-то выбросил — и, глядишь, машина заработала лучше прежнего. А рядом, в соседнем колхозе, другие ребята мучаются из-за той же неполадки, да не догадываются такую рационализацию сделать.

— Это точно,— согласился товарищ из области,— такие случаи возможны. Но мы о них не знаем. А таких умельцев мы бы в общество приняли, на слеты, на выставки посылали, но — увы! — плохая связь у нас с селом, плохая. И помогают нам очень плохо. Особенно комсомол. Они свое дело делают, но ведь и мы не сидим сложа руки. А где стыковка наших дел? Может быть, суть в обоюдной информации? С этого начать? Да мало ли таких организаций, с которыми у нас общие интересы?

— Ну так налаживайте связь, раз общие интересы!

— Легко сказать,— кисло усмехнулся представитель.— Не все от нас зависит. Правда, деньги у нас есть, и немалые, на любые мероприятия могли бы расходовать, и мы, кстати, не раз предлагали их. Но наше богатство, к сожалению, пока что мало кого прельстило.

— Дали бы тогда мне,— рассмеялся Мемет.— Или всем тем, кто учеников готовит. Скажем, пятерых подготовил — получай пятьдесят таньга. А среди этих пятерых, раз они приобщились к технике, хоть один-то окажется настолько башковитым, чтобы что-то усовершенствовать, придумать, предложить...

Долго тянулся этот разговор, да жаль, в сутолоке автостанции, а не в кабинете какого-либо областного учреждения со стенографисткой...

Часов в шесть утра к Мемету постучались. Сладко потягиваясь, Мемет открыл калитку, впустил во двор, нисколько не удивляясь, взволнованную тетушку Рахилю.

— Опять воры?

— Они самые, милый Мамат, они самые. Как ушла вчера от тебя, закрыла все двери на все запоры, крючки и засовы, так на улице носа не казала. И ночью глаз не

смыкала, только под утро соснула на минутку, но тут же проснулась и бегом во двор. Калитка заперта, засовы на месте, а в хлеву на своем месте стоит мой барашечек, глядит на меня, родименький. Я уж испугалась было, уж не шайтаны ли со мной шутки шутят, а тут глянула на заднюю стену хлева, что выходит на улицу, и ахнула: там во-от такая дыра!

— А, понимаю,— серьезно поддакнул Мемет.— Это у воров такой обычай: дважды одной и той же дорогой не ходить. А раз так, то как же они могли привести вашего барашка обратно? Только через дыру.

— И то верно! — всплеснула руками старуха.— Здорово, видать, напугал воришек главный милисия-то, дай бог ему здоровья и хорошую жену.

— Положим, милиционер тот давно женат,— засмеялся Мемет.— И на здоровье не жалуется. Так вы идите, бабушка, к себе, заварите крепкого кок-чая. Я приду, заделаю дыру. Оденусь только вот. Гувальяки-то, надеюсь, есть у вас?

— Да от дыры все гувальяки целехонькие! В кучу рядом с дырой сложены, аккуратненько так. Хозяйственный, видно, воришка, паршивец!

— Хозяйственным не был, но будет.— Посмеиваясь, Мемет глядел вслед тетушке Рахиле.

Начинался новый день.

1970

## ТАЙНА ВЫСОТЫ

Веточка, на конце которой пламенело несколько крупных плодов абрикоса, походила на факел. В моих глазах этот факел горел ярче, чем само солнце. Урожай с урючины мы собрали давно, как сохранилась эта гроздь — я до сих пор не могу понять.

«Чего уставился, проходи, проходи!» — как будто сказали мне сочные оранжевые плоды.

Я погрозил кулаком:

— Сейчас я вас достану!

Я выбрал большущий голыш, встал прямо под ветками — для точного прицела, размахнулся, резко выбросил руку. Голыш полетел точно к цели, но на полноту не-

ожиданно сбавил скорость, через секунду почти остановился, потом повис в воздухе, словно раздумывая, куда бы полететь дальше, затем коршуном ринулся вниз, прямо на меня, все быстрее, быстрее...

Я не успел опомниться — голыш трахнулся о гнилой сук, тот разлетелся в щепки, и одна из них угодила мне прямо по макушке. Если бы не сук, мне бы здорово досталось: увесистый голыш точно приземлился бы на мою голову.

«Ха-ха-ха! — радостно засмеялась гроздь. — Получил по заслугам? Так тебе и надо. Иди лучше своей дорогой подобиру-поздорову».

— Ну, погоди, я тебе покажу! — разозлился я, потирая вскочившую шишку. Потом посмотрел по сторонам: «Куда моя тюбетейка слетела? Если бы она была на голове, обошлось бы без шишки».

Отыскав в траве тюбетейку, которую потерял, когда размахнулся голышом, я попытался надеть ее. Но тюбетейка не лезла на голову — мешала шишка.

«Ха-ха-ха! — веселилась гроздь. — На твоей голове еще голова растет, вот умора!»

Я положил тюбетейку на траву у корней урючины, пошарил глазами, отыскивая камень, удобный для метания, но не такой большой, как тот первый голыш.

Не найдя ничего подходящего — отец беспощадно изгонял камни из сада, — я призадумался. Конечно, можно было бы отправиться восвояси, сделав вид, что никакой грозди я не заметил, найти себе другое занятие, но меня удерживало шушуканье плодов на той ветке. Я так и слышал тихий, издевательский смехок. Кроме того, не хотелось оставить начатое — горящая на макушке шишка тоже того требовала.

«Если бы с самого начала прошел мимо, будто не заметил этих плодов, — подумал я, — все было бы нормально. А теперь назад пути нет: абрикосы нужно достать».

Поразмыслив, я решил-таки добраться до этих плодов. Любой ценой.

Снял сандалии, закатал штанины до колен, засучил рукава и подошел к урючине.

С этим деревом не могло сравниться ни одно дерево не только в нашем саду, но и во всем кишлаке. Оно могло

уступить по величине разве лишь чинаре, что растет на гузаре, возле мельницы Мамата-бобо. У основания урючину могли обнять только двое таких, как я, и то, наверное, вряд ли коснулись бы друг друга кончиками пальцев.

Метрах в двух от земли ствол разделялся надвое. Левый ствол был толще, с шершавой бурой корой, лет на десять старше брата: на нем росли абрикосы сорта кантдак — как сахар. Эти плоды славились на всю округу, все ходили к нам за черенками для прививки. А один дед, умирая, просил принести ему плодов именно с нашего кантдака...

На правом стволе тоже были неплохие абрикосы. Происходили они от знаменитого сорта, но, когда прививали, что-то сделали не так, и нужный сорт не получился.

Как назло, гроздь вроде бы попритихла. Мне показалось, я даже услышал перешептывание:

«Тише вы, а то достанет нас этот шишкастый. Вон он уже по нашему стволу ползет, как букашка».

«А он, видать, настырный: свое хочет доказать. Пусть лезет, посмотрим, насколько его хватит. Нас-то ведь так просто не достанешь — под самым небом растем!»

Забравшись на большую ветку, я решил передохнуть. Поудобнее устроившись, посмотрел вниз и ничего, кроме шершавой коры, не увидел. Глянув прямо перед собой, различил плоскую крышу нашего дома. На такую высоту я забрался впервые, поэтому мне стало немного не по себе. Испугавшись, что мою нерешительность почувствуют плоды и поднимут на смех, я решил больше не смотреть вниз, а только лезть вверх и смотреть лишь на небо. Но неба не было видно: его заслоняла могучая крона.

Ответвления стали гуще и тоньше, но до грозди еще не дотянуться. Надо выяснить, где она прячется. Перед этим лучше еще разок передохнуть, а потом уж лезть до победного конца...

Несмотря на зарок, я все же кинул взгляд вниз, и у меня захватило дух: нашей крыши на своем месте не было, она словно сдвинулась в сторону, а ее место заняли крыши соседних домов. Видны крыши домов и через улицу. Я заметил даже людей во дворах — они были не больше воробьев, и их нельзя было узнать. Вдали вилась

узкая змейка — дорога, ведущая в райцентр. По ней медленно плыл, волоча за собой кудрявое облачко пыли, грузовичок не больше игрушечного.

Я понял, что долго смотреть вдаль не следует. Закружится голова.

Я прислушался, но гроздь молчала, явно желая предугадать, что я собираюсь предпринять. А может быть, не хотела обнаружить себя.

Набравшись духу, я полез дальше. Поднялся еще на несколько метров. Так и подмывало глянуть вниз, но я удерживал себя. Главное — найти, где спряталась гроздь. И высмотреть, как до нее добраться. Ветви еще довольно толстые, запросто должны выдержать мою тяжесть.

Я осторожно вытянулся, отодвинул левой рукой листья, которые лезли в глаза. И тут вдруг что-то треснуло под ногами — ветка, на которой я стоял, обломилась. Я едва успел ухватиться за ствол. Чувствовал — вот-вот сорвусь. Все тело одеревенело, спина намокла, руки готовы разжаться... Такое ощущение, что теперь ничто не удержит меня, остается одно — лететь вниз, ударяясь о ветки и ствол, цепляясь за сучья, беспомощно размахивая руками...

— Сын, обними ствол крепче! — вдруг раздался снизу властный, спокойный голос.

Я его узнал — это голос отца, но не успел даже удивиться, откуда отец появился именно в этот миг.

Я крепче прижался к стволу.

— А теперь подтянись и возьми левее. Чуть ниже ветки, что сломалась, есть другая. Она крепкая.

Все, что велел отец, мне показалось, я проделал за целую вечность, хотя, наверное, на это ушло не более минуты. Вот, наконец, и опора под ногами. Но что это? Ноги дрожат, и нет сил ни стоять, ни тем более двигаться... При одной мысли, что еще предстоит спускаться, у меня потемнело в глазах. Сказать отцу, чтобы снял? А как он снимет? Это ведь не крыша. Да и стоит вымолвить словечко, нервы сдадут и я разрыдаюсь — тогда уж вряд ли удержусь... К тому же я никогда не плакал перед отцом, и он всегда гордился этим.

— Так. Все отлично, — донесся спокойный, буднич- ный голос отца. — Отдохни, сын. Конечно, ты устал, пока

забирался на такую верхотуру. Туда еще никто не мог залезть. Даже Ахмад-шайтан.

Отец весело рассмеялся. У меня на душе тоже по-теплело немного: как же, мало кто мог сравниться с Ахмадом-шайтаном в лазании по деревьям!

— Ты, наверно, полез вон за тем урюком? — продолжал отец. — Я сам бы хотел достать, да разве бы смог?!

Я осторожно поднял голову. Вот она, гроздь, почти рядом алеет. Стоит только подняться и протянуть руку... Сук под ногами молодой, упругий.

«А вот посмотрим, не забойтся ли?» — пробормотала гроздь без прежней уверенности. И издевательских ноток нет.

— Я сейчас сорву, папа, — сказал я тихо, но отец услышал меня.

— Только осторожнее, сын. Ветви, за которые берешься, вначале пробуй на крепость.

Набравшись духу, я осторожно начал продвигаться вверх. Тяжесть в руках и ногах еще была, но дрожь прошла, появилась какая-то сила, легкость.

— Не спеши. Передохни, — командовал снизу отец. — Вот так. Полезли дальше. Стоп. Правой ногой встань на сук. Так. Левой обойми ствол. Все верно. Протяни правую руку. Не спеши, веди по ветке. Еще немного, чуть вниз. Еще, еще. Ухватил? Теперь рви, да осторожнее, рви под черенком — легче оторвется. Хорошо, положи гроздь за пазуху. Отдохни малость, потом тронемся вниз.

Я стоял, прижавшись щекой к стволу, чувствуя его тепло, запах смолы и листьев. Легкий ветерок гладил лицо. Ароматная гроздь лежала за пазухой. Она уже ничего не говорила...

— Отдохнул? Тогда переложи урюк на бок, чтобы не раздавить, когда будешь обнимать ствол. Старайся не смотреть вниз. Можно только вдаль. Не спеши, сын, не спеши только. Перейди теперь чуть левее, еще...

Трах! Ветка, за которую я ухватился левой рукой, сломалась. Но правая рука меня удержала, да и ноги стояли на крепкой основе.

— Я же сказал: еще левее... Там больше веток и крепче они...

Перейдя к солнечной стороне, о которой говорил отец, я присел на спаренный сук и, обняв ствол, свесил ноги.



Нет, никому из ребят я не скажу, что забрался на эту верхотуру. И никто не узнает, что я сорвал эту несчастную гроздь плодов. Кому они нужны? Будто абрикосов никогда не едал. И Ахмаду-шайтану нечего завидовать: он небось не дрожит так, как я, когда лазит по деревьям! И без помощи отца обходится. А я даже при отце чуть дважды не сверзился. Надо взять себя в руки, не бахвалиться, не трусить. Потихоньку спускаться вниз, к спасительной земле. И в другой раз не делать глупостей, браться только за то, что под силу...

— Совсем немного осталось, сын, совсем немного. Главное — терпение и настойчивость. Спокойно, спокойно, не спеши... Знаешь, когда очень спешишь, никак не застегнешь пуговицы на рубаше... Тогда я себе говорю: «Я очень тороплюсь, но не спешу. Спокойно застегиваю пуговицы, быстро, но не спеша». И знаешь, получится отлично!

А вот и крыша. Наша крыша! Я почти на одном уровне с ней. Значит, осталось совсем немного.

Остановившись передохнуть, я осмелился глянуть вниз. Отец стоял, запрокинув голову вверх, широко расставив ноги. Он улыбался мне, но улыбка какая-то кривая, неестественная. Отец был босиком, в рубаше навыпуск. Странно, он никогда не выходил в таком виде даже во двор...

— Все в порядке. Еще чуть-чуть — и ступишь ногой на лестницу. Не торопись.

Значит, отец с самого начала принес сюда лестницу... Значит, и у него была мысль залезть на дерево самому, снять меня... Сделать невозможное. Лишь поняв это, стал диктовать, как мне действовать дальше...

Отец подхватил меня, когда оставалось несколько ступенек, крепко прижал к себе.

— Прости, отец, — поднял я голову и увидел, как по шершавой щеке бежит крупный прозрачный шарик.

Отец опустил меня на землю, молча повернулся, взял лестницу и быстро пошел к дому.

Ночью я услышал, как он говорил маме:

— Раз сто, наверное, я умирал, пока он не спустился.



— Запрети ему! Чтоб никогда больше не приближался к деревьям.

— Такое не запретишь, мать. Да теперь и сам будет умнее. А ползет — не так будет бояться. Не растеряется. Ведь он уже познал тайну высоты...

1968

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>П. Ульяшов. Чтоб не прерывалась цепочка . . .</i>	<b>3</b>
<b>ЗОЛОТОЙ ПОРОГ. Повесть . . . . .</b>	<b>7</b>
<b>ДЕРЕВЬЯ РАСТУТ ВВЕРХ. Рассказы . . . .</b>	<b>125</b>
ложь . . . . .	126
письмо учителю . . . . .	137
неластье . . . . .	141
подборщик . . . . .	156
конец «ГРОЗНОЙ КАРТЫ» . . . . .	166
чужие заботы . . . . .	171
ТАЙНА ВЫСОТЫ . . . . .	184

Литературно-художественное издание

Для среднего и старшего школьного возраста

*Умеров Эрвин Османович*

**ТАЙНА ВЫСОТЫ**

Повесть и рассказы

Ответственный редактор **Г. И. МОСКОВСКАЯ**

Художественный редактор **Е. М. ЛАРСКАЯ**

Технический редактор **Е. П. КУДИЯРОВА**

Корректор **Л. А. РОГОВА**

ИБ № 10476

Сдано в набор 30.06.87. Подписано к печати 02.03.88. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бум. кн.-журн. № 2. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 11,34. Уч.-изд. л. 10,0.

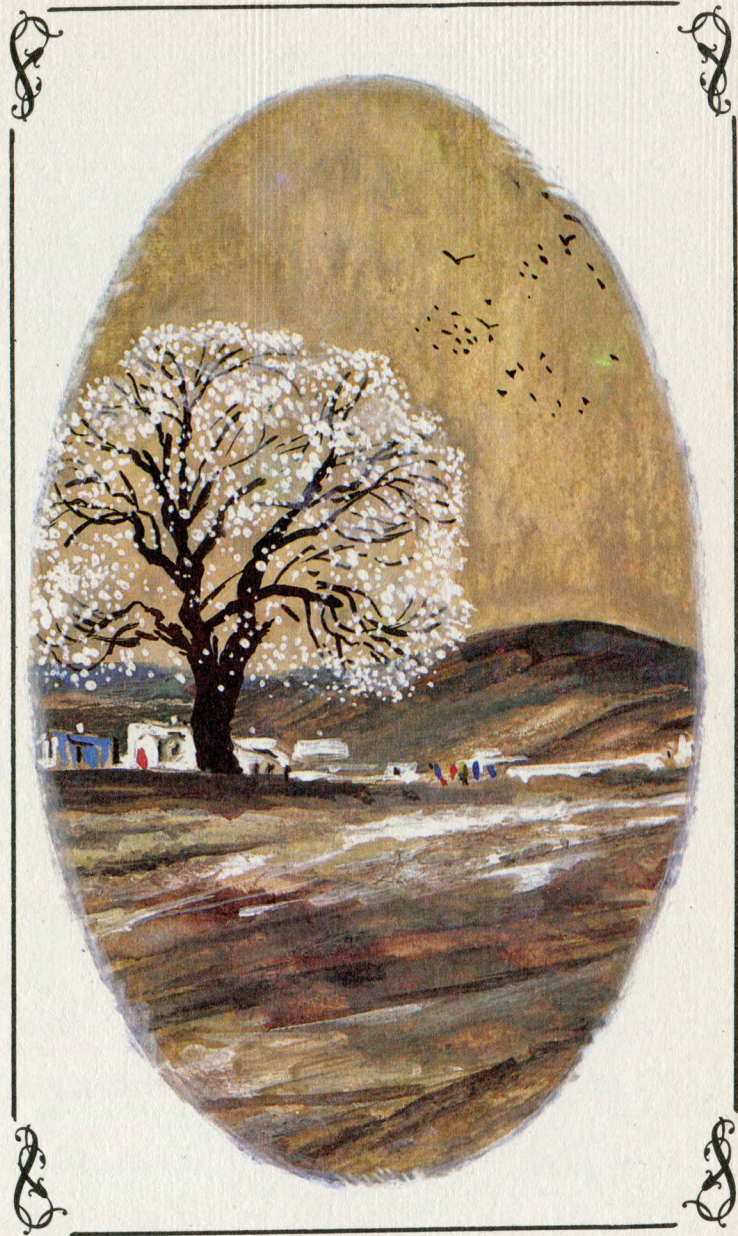
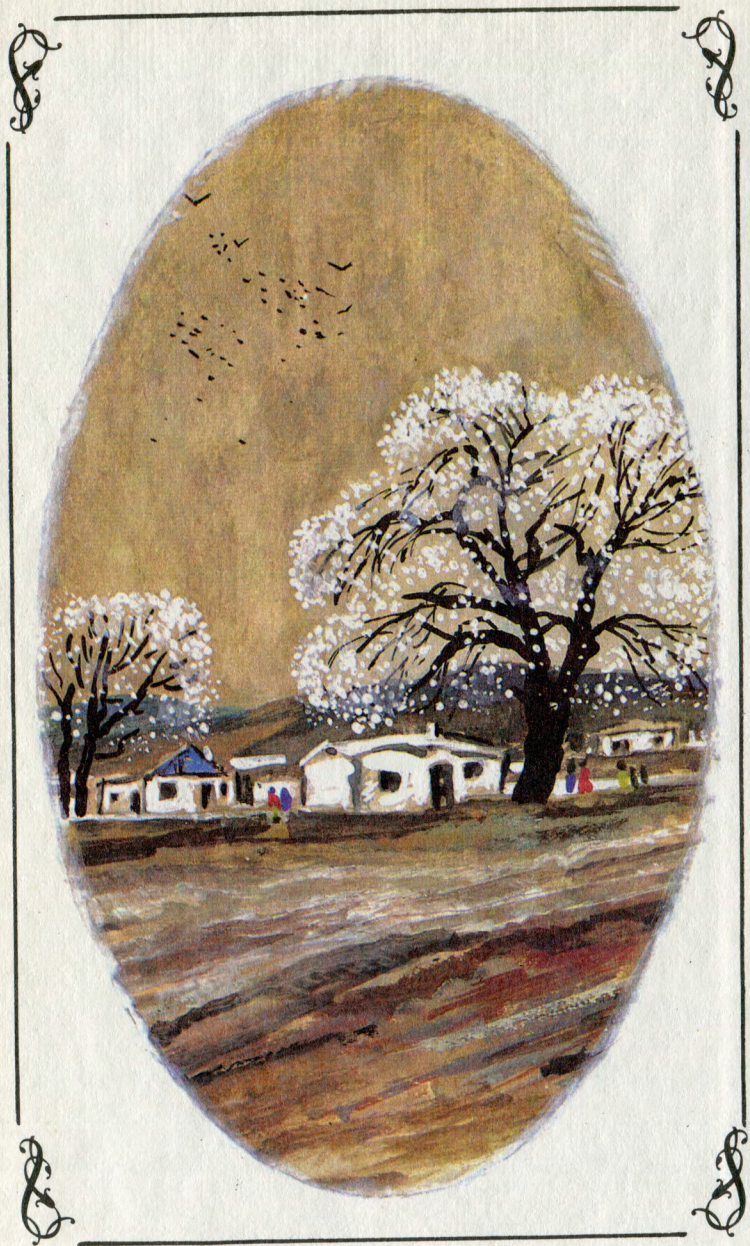
Тираж 100 000 экз. Заказ № 6614. Цена 70 коп

Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».







70 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

